

ГЛАВА VI. Почему мы как общество не возражаем против распространения бессмысленной занятости?

“ Как же глупы мнения некоторых людей из Ост-Индии, полагающих, что обезьяны и бабуины, которых там огромное количество, наделены рассудком и умеют разговаривать, но не делают этого из страха, что их возьмут на службу и заставят работать.

Антуан Легран. Около 1675 года

Мы уже рассмотрели экономические и социальные силы, приведшие к распространению бредовой работы; мы также обсудили мучения и страдания, которые такая работа причиняет тем, кто ею занят. Однако, несмотря на эти очевидные и повсеместные страдания, тот факт, что миллионы людей каждый день приходят на работу в убеждении, что совершенно ничего на ней не делают, до сих пор не считался социальной проблемой. Политики не обличают бредовую работу; ученые не проводят научные конференции, посвященные пониманию причин распространения бредовой работы; в медиа нет колонок о культурных последствиях бредовой работы; нет и протестных движений, выступающих за ее ликвидацию. Наоборот, если политики, ученые, журналисты или общественные движения и вмешиваются в этот вопрос, то они обычно напрямую или косвенно делают только хуже.

Ситуация кажется еще невероятнее, если рассмотреть более общие социальные последствия распространения бредовой работы. Если половину той работы, которую мы выполняем, можно устранить без сколько-нибудь существенного снижения общей производительности, то почему бы тогда просто не перераспределить оставшуюся работу так, чтобы все работали по четыре часа в день? Или почему бы не перейти на четыре рабочих дня в неделю с ежегодным четырехмесячным отпуском? Или еще на какую-нибудь такую же беззаботную систему? Почему бы не начать отключать всемирную машину труда? Во всяком случае, это, вероятно, самое эффективное из всего, что можно сделать, чтобы приостановить глобальное потепление. Сто лет назад многие предполагали, что к настоящему моменту стабильное развитие технологий и трудосберегающих устройств сделает это возможным. Ирония в том, что они, вероятно, были правы. Все мы легко могли

бы работать двадцать или даже пятнадцать часов в неделю. Однако почему-то мы как общество коллективно решили, что будет лучше, если миллионы людей станут тратить годы своей жизни, делая вид, будто заполняют электронные таблицы или готовят графические схемы для совещаний PR-отдела. Хотя вместо этого их можно было бы освободить и дать им возможность вязать свитера, играть с собаками, создавать музыкальные группы в гаражах, экспериментировать с новыми рецептами или сидеть в кафе, споря о политике и сплетничая о сложных полиаморных любовных интригах своих друзей.

Для того чтобы понять, как это произошло, обратимся к следующему примеру. Невероятно трудно представить себе колумниста крупной газеты или журнала, который написал бы статью о том, что какая-то группа людей слишком много работает и что этому нужно положить конец. Зато не составит труда найти статьи, в которых авторы жалуются, что определенные группы людей (молодежь, бедняки, получатели разных видов государственной помощи, представители некоторых этнических или национальных групп[160]) ленивы; что они считают, будто им все обязаны; что им не хватает стимула или мотивации либо что они не желают зарабатывать себе на жизнь. В интернете множество подобных статей. Как сказала Рэйчел из главы 4, «если я листаю новостную ленту на Facebook, то обязательно наткнувшись на нравоучительную колонку о том, что мое поколение считает, будто им все должны, и не желает, черт возьми, заниматься тяжелым честным трудом!». Как только начинается кризис (даже если это экологический кризис), сразу появляются призывы к коллективному самопожертвованию. Причем эти призывы обязательно предполагают, что все должны больше работать – несмотря на то, что с экологической точки зрения, как я уже отметил, массовое сокращение продолжительности рабочего дня, вероятно, является самым быстрым и простым способом спасти планету.

Колумнисты – это современные моралисты, светские аналоги проповедников. Когда они пишут о работе, их аргументы отражают очень длинную теологическую традицию, которая придавала работе статус священного долга, одновременно проклятия и благословения, и исходила из того, что люди по природе своей греховные и ленивые создания, которые при любой возможности будут уклоняться от этой обязанности. Сама экономика как дисциплина возникла из моральной философии (Адам Смит был профессором моральной философии), а моральная философия, в свою очередь, изначально была ветвью теологии. Многие экономические концепции уходят корнями в религиозные идеи. В результате аргументы, касающиеся ценности, всегда имеют теологический оттенок. Некоторые исходно теологические представления о труде настолько общеприняты, что их стало просто невозможно поставить под сомнение. Стало невозможно утверждать, что трудолюбивые люди, вообще говоря, не достойны восхищения вне зависимости от того, какую работу они столь усердно выполняют. Точно так же стало невозможно сказать, что люди, избегающие работы, вовсе не достойны презрения, а их мнение следует всерьез принимать в общественных дискуссиях. Если кто-то заявляет, что некая политическая программа создаст новые рабочие места, то недопустимо возразить, что есть такие рабочие места, которые вообще не стоит создавать. (Я это знаю, потому что иногда делал так в разговоре с занудами-экспертами – отчасти просто для того, чтобы видеть их шок и замешательство после таких заявлений.) Если вы скажете что-то подобное, то все остальные ваши слова будут восприниматься как болтовня провокатора, шута или сумасшедшего – в общем, человека, чьи дальнейшие доводы можно автоматически игнорировать.

Голосов моралистов может оказаться достаточно, чтобы убедить нас не устраивать скандал из-за распространения бредовой работы: в общественных дискуссиях вся работа обязательно рассматривается как священный долг, а значит, любая работа всегда предпочтительнее, чем полное ее отсутствие. Но когда дело касается нашей собственной работы, мы, как правило, используем совершенно иной критерий. Мы рассчитываем, что работа будет служить какой-то цели или иметь смысл, и мы чувствуем себя глубоко деморализованными, если выясняется, что это не так. Но это подводит нас к другому вопросу: если сама по себе работа не имеет никакой ценности, то каким образом она может быть ценной для других? Ведь когда люди говорят, что их работа «бесполезна» или «никому не нужна», то тем самым они делают утверждения по поводу ценности. О какой ценности идет речь?

* * *

Сфера ценности – неизбежно спорная зона. Складывается впечатление, что всякий раз, когда речь идет о том, что считают желанным все («правда», «красота», «любовь», «демократия»), не существует консенсуса относительно того, что эти слова на самом деле означают. (Как ни странно, так обстоит дело даже с деньгами: у экономистов есть разногласия по поводу того, что это такое.) Но наше общество таково, что в нем особенно важно учитывать суждения о ценности работы, потому что из-за них мы оказались в мире, где с точки зрения любого постороннего наблюдателя всё искажено и стоит вверх ногами. Как мы увидим, у людей есть представление об общественной ценности своей работы. Однако наше общество достигло стадии, на которой общественная ценность работы обычно не просто обратно пропорциональна ее экономической ценности (чем больше работа приносит пользы другим, тем меньше вероятность, что она оплачивается), но многие люди считают это нормальным с нравственной точки зрения. Они искренне верят, что так всё и должно быть, что мы должны поощрять бесполезное и даже разрушительное поведение и фактически тем самым наказывать тех, чей ежедневный труд делает мир лучше.

Это действительно противоестественно. Однако чтобы понять, как это произошло, нам нужно будет и самим немного поработать.

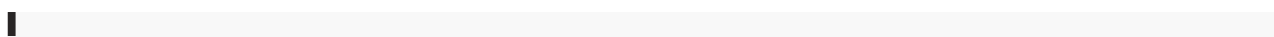
О невозможности разработать абсолютную меру ценности

Когда кто-то называет свою работу бессмысленной или бесполезной, то всегда опирается на какую-нибудь подразумеваемую теорию ценности – представление о том, что является стоящим занятием, а что нет. Крайне сложно, однако, выяснить, в чем состоит эта теория в каждом конкретном случае, не говоря уже о том, чтобы предложить надежную систему измерения, которая позволит сказать, что работа X более ценна или полезна для общества, чем работа Y.

Экономисты измеряют ценность при помощи того, что они называют «полезностью», то есть насколько товар или услуга помогает удовлетворять желания или потребности[161]. Многие применяют похожий принцип и к своей работе. Приношу ли я какую-то пользу обществу? Иногда ответ очевиден. Тот, кто строит мост, считает это стоящей задачей, если предполагает, что мост будет полезен для тех, кто захочет перебраться через реку. Если рабочие строят мост, который вряд ли кто-то станет использовать, то они, скорее всего, придут к выводу, что занимаются бредовой работой. Так происходит в случае со знаменитыми «мостами в никуда», строительство которых иногда спонсируют местные политики в США, чтобы привлечь в свои округа федеральные деньги.

И всё же с концепцией полезности есть очевидная проблема. Когда мы называем что-то полезным, то просто имеем в виду, что это позволяет получить что-то еще. Если вы покупаете платье, то полезность платья отчасти заключается в том, что оно защищает вас от природных стихий, а также гарантирует, что вы не нарушаете законы, запрещающие ходить по улице голым. Однако в основном его полезность зависит от того, насколько оно идет вам или поднимает настроение. Так почему одному платью это удастся, а другому нет? Экономисты обычно говорят, что это дело вкуса и, следовательно, не входит в их компетенцию. Но если сделать несколько шагов назад, то в конечном счете любая полезность оборачивается такого рода субъективной проблемой, даже если речь идет о чем-то относительно несложном, вроде моста. Да, мост может облегчить людям путь с одного берега на другой, но почему они хотят преодолевать этот путь? Посетить престарелого родственника? Поиграть в боулинг? Даже если они просто едут в магазин за продуктами. Никто не покупает продукты просто для поддержания своего физического здоровья: люди также выражают свой личный вкус, поддерживают национальную или семейную традицию, готовятся к пьянке с друзьями или к религиозному празднику. Мы не можем обсуждать подобные вещи, используя язык «потребностей». На протяжении большей части истории человечества (и сегодня это всё еще актуально для значительной части мира) бедняки влезали в огромные долги местным ростовщикам, потому что считали, что им нужно занять денег, чтобы устроить нормальные похороны для родителей или свадьбу для детей. Была ли у них такая «потребность»? Очевидно, они твердо убеждены, что да. И поскольку не существует научного определения, что такое на самом деле «человеческие потребности» (если не считать минимальной нужды тела в калориях и питании, а также нескольких других физических факторов), такие вопросы всегда будут субъективными. В значительной степени потребности – это всего лишь ожидания других людей. Если вы не устроите нормальную свадьбу для своей дочери, то это будет позором для семьи.

Большинство экономистов пришли к выводу, что бессмысленно судить о том, чего люди должны хотеть; целесообразно просто принять как факт, что они чего-то хотят, и судить о том, насколько эффективно («рационально») они удовлетворяют свои желания. Судя по всему, большинство работников согласны с этим. Как я уже отмечал, люди, которые считали свою работу бессмысленной, почти никогда не говорили что-нибудь в духе: «Я делаю селфи-палки. Селфи-палки – это тупо. Люди не должны покупать тупые вещи вроде селфи-палок» или «Да кому нужна пара носков за две сотни долларов?» Даже парочка исключений были показательными. Например, возьмем историю Дитриха, который работал в компании, продававшей товары для праздников (в основном местным церквям):



Дитрих: На протяжении нескольких лет я работал на складе магазина подарков. Не знаю, что еще сказать, кроме того, что это был полный и абсолютный бред. Что такое истинная деградация, узнаешь только после того, как проведешь большую часть рабочего времени, слоняясь между коробками с клоунскими носами, порошками для чихания, пластиковыми фужерами для шампанского, картонными фигурами баскетболистов и другими бесполезными безделушками и пустяками. большую часть времени мы просто сидели на задворках склада, почти ничего не делая и размышляя об абсолютной бесполезности того, чем мы занимаемся. Так продолжалось год за годом, в то время как бизнес становился всё более и более нерентабельным.

Мало того, наши зарплатные чеки были ярко-красными и на них были изображены клоунские носы. Это очень забавляло всех банковских служащих – как будто их собственная работа куда более значима!

Можно долго рассуждать о том, почему Дитрих счел именно эти товары столь оскорбительными. (Что плохого в том, чтобы немного подурчиться?) Я подозреваю, что причина в том, что это не сам Дитрих пришел к осознанию, что работает на поставщиков однодневного хлама. Ведь эти товары всегда считались однодневным хламом, это антиполезные вещи, сделанные только для того, чтобы оказаться на помойке, это насмешка над «настоящими» предметами и «настоящими» ценностями (даже деньги были шуточными). Более того, безделушки вовсе не отвергают «настоящие» ценности во имя чего-нибудь конкретного; в них нет никакого реального вызова тому, над чем они якобы смеются. Таким образом, можно сказать, что это даже не подлинная насмешка: это насмешка над насмешкой, сведенная к чему-то, настолько лишенному всякого подрывного содержания, что даже самые скучные и нудные члены общества радостно принимают ее «ради детей».

Мало что угнетает больше, чем принудительное веселье. Однако истории вроде той, что рассказал Дитрих, встречаются редко.

Когда работники оценивают общественную ценность своей работы, в большинстве случаев они, с некоторыми вариациями, занимают ту же позицию, что и Том, художник по спецэффектам из главы 2: «Я считаю полезной ту работу, которая удовлетворяет существовавшую ранее потребность либо создает продукцию или услугу, о которой люди не думали и которая каким-то образом улучшает их жизни». Это принципиально отличается от «работы по наведению красоты», которой занимается Том: он должен манипулировать изображениями знаменитостей, чтобы заставить зрителей чувствовать себя непривлекательными, а потом продавать им лекарство, которое на самом деле не помогает. Агенты по телефонным продажам иногда выражали аналогичную обеспокоенность, но опять-таки по большей части они занимались просто мошенничеством. Нет необходимости обращаться к сложной теории общественной ценности, чтобы объяснить, что плохого в том, чтобы уговаривать пенсионеров покупать подписку, которую они не могут себе позволить, на журналы, которые они не станут читать. Мало кто осуждал вкусы и предпочтения клиентов; им казалось, что сама агрессивность и нечестность их действий были

доказательством, что они предлагают предметы, не имеющие никакой ценности.

Другие возражения опираются на гораздо более давние традиции социальной критики. Возьмем Руперта, работника банка, который утверждал: «Очевидно, что весь сектор не прибавляет никакой ценности, и, следовательно, всё это бред», поскольку финансовый сектор просто «присваивает труд посредством ростовщичества». Трудовая теория стоимости[162], к которой он обращается, уходит корнями по меньшей мере в европейское Средневековье. Она исходит из предположения, что истинную ценность товара определяет труд, затраченный на его производство. Так что когда мы отдаем деньги в обмен на буханку хлеба, то на самом деле платим за человеческие усилия, которые были затрачены, чтобы вырастить пшеницу, испечь хлеб, упаковать и доставить буханки. Если одни буханки хлеба стоят дороже других, то это либо потому, что на их производство и транспортировку уходит больше труда, либо потому, что мы считаем, что качество какого-то из этих видов работы выше (требуется больше навыков, мастерства, усилий), чем в случае с другими буханками, и, следовательно, мы готовы больше платить за конечный продукт. Аналогичным образом если вы занимаетесь мошенничеством и лишаете других людей их состояния (что Руперт, по его мнению, и делал, работая в международном инвестиционном банке), то вы действительно крадете настоящий, производительный труд, который был вложен в создание этого состояния.

Конечно, на протяжении долгого времени подобные аргументы использовались, чтобы критиковать порядок вещей, при котором одни люди, можно сказать, живут за счет усилий других. Но само существование бредовой работы создает определенные проблемы для любой трудовой теории стоимости. Действительно, сказать, что вся ценность определяется затраченным трудом[163], очевидно, не то же самое, что сказать, что любой труд производит ценность. Руперт считал, что большинство работников банка вовсе не были бездельниками; напротив, он полагал, что большинство из них трудились довольно усердно. Дело только в том, что весь их труд, по его мнению, заключался в поиске хитрых способов присвоить плоды настоящего труда, которым занимаются другие люди. Но тогда перед нами вновь встает вопрос о том, как отличить «настоящий» труд, который создает ценность, от его противоположности. Если стрижка – это ценная услуга, то почему предоставление консультаций по поводу инвестиционного портфеля – нет?

Однако ощущения Руперта нельзя назвать необычными. Возможно, необычно то, что он сформулировал их с помощью трудовой теории стоимости, однако очевидно, что он выразил смущение, которое испытывают многие работники финансовой сферы и смежных областей. Вероятно, он был вынужден обратиться к подобным теориям из-за того, что господствующая экономическая доктрина просто не предоставила ему особого выбора. Среди современных экономистов преобладает мнение, что поскольку ценность в конечном счете субъективна, то такие ощущения попросту невозможно подтвердить. Следовательно, все должны воздерживаться от суждений и действовать исходя из того, что если есть спрос на данный товар или услугу (в том числе и на финансовые услуги), то очевидно, что они имеют для кого-то ценность, и это всё, что нужно знать. Как мы видели, до какого-то момента большинство работников в принципе согласны с экономистами – по крайней мере, когда дело касается вкусов и предпочтений масс. Но когда речь заходит об их собственной работе, опыт зачастую явно противоречит представлению о том, что в таких вопросах рынку

всегда можно доверять. В конце концов, на труд тоже существует спрос, и если бы рынок всегда был прав, то тот, кто получает сорок тысяч долларов за то, что весь день играет в компьютерные игры и сплетничает со старыми друзьями в WhatsApp, должен был бы признать, что услуги, которые он предоставляет компании, играя на компьютере и сплетничая, действительно стоят сорок тысяч долларов. Очевидно, что это не так. Таким образом, рынки не могут быть всегда правы. Из этого следует, что если рынок мог настолько испортить ту область, с которой работник знаком лучше всего, то он тем более не может просто послушно предположить, что рынку можно доверять в оценке истинной ценности товаров и услуг в тех областях, о которых у него нет информации из первых рук.

Любой, кто занимается бредовой работой или знает людей, которые ею занимаются, в курсе, что рынок не является безупречным арбитром в вопросе определения ценности. Проблема в том, что такого арбитра вовсе не существует. Вопросы ценности всегда вызывают определенные затруднения. Большинство людей согласятся, что некоторых компаний с таким же успехом могло бы вообще не существовать, но такая позиция основана скорее на своего рода интуиции, а не на четко сформулированной идее. Если попробовать сформулировать, как выглядит дело с точки зрения преобладающего, невысказанного здравого смысла, то я бы предположил, что большинство людей, судя по всему, придерживаются позиции, которая сочетает взгляды Тома и Руперта. Согласно этой позиции, если товар или услуга удовлетворяют спрос или иным образом улучшают жизнь людей, то их можно считать действительно ценными; если же они служат для создания спроса, заставляя людей чувствовать себя толстыми и уродливыми или загоняя их в долги и затем взимая проценты, то тогда их нельзя считать ценными. Звучит достаточно разумно. Но это по-прежнему не дает ответа на вопрос, что значит «улучшить жизнь людей», – а от этого, безусловно, зависит всё остальное.

О том, как большинство людей в современном обществе согласились с идеей, что общественную ценность можно отделить от экономической ценности, даже если очень трудно определить, в чем состоит общественная ценность

Таким образом, мы снова возвращаемся к теориям ценности. Что вообще можно считать способствующим улучшению жизни людей?

В экономике теории ценности в основном служат для объяснения ценообразования на товары: цена буханки хлеба будет колебаться в зависимости от непредвиденных изменений спроса и предложения, но в итоге цена всегда будет стремиться к некоему центру – к естественной цене, которую должна иметь буханка хлеба. В Средние века это рассматривалось как чисто нравственный вопрос: как можно определить «справедливую цену» товара? Если торговец поднимает цены во время войны, то в какой мере он обоснованно включает надбавку за работу в опасных условиях, а в какой – просто обирает покупателей? В то время юристы часто обсуждали пример тюремного узника, который питается только хлебом и водой и который отдал всё свое состояние другому узнику в обмен на вареное яйцо. Можно ли это действительно считать свободным выбором? Должен ли такой контракт иметь законную силу после того, как оба узника будут освобождены?

Таким образом, уже очень давно существует представление, что рынок может как недооценивать, так и переоценивать вещи. Оно по-прежнему является неотъемлемой частью нашего здравого смысла, иначе никто не мог бы сказать, что его обобрали или что он заключил очень выгодную сделку, – несмотря на то, что никому не удалось предложить надежную формулу для подсчета «реальной» ценности конкретного товара, которая показывала бы, насколько сильно тебя обобрали или насколько удачную сделку ты заключил. Пришлось бы учесть слишком много факторов, и многие из них явно не поддаются подсчету (сентиментальная ценность, индивидуальный вкус или субкультурный стиль). Что вызывает удивление, так это то, что многие экономисты, причем не только любители, упрямо настаивают, что должна быть возможность это сделать.

Многие полагают, что все эти различные формы ценности на самом деле иллюзорны или не имеют значения для рынка. Экономисты, например, часто заявляют, что поскольку ценность в конечном счете является просто показателем полезности, то цены на товары будут стремиться к их реальной рыночной ценности на протяжении определенного отрезка времени. При том что этот аргумент создает замкнутый круг: вне зависимости от того, к какому значению будет стремиться цена товара на протяжении определенного отрезка времени, это и будет объявлено его реальной рыночной ценностью. Марксисты и другие противники капитализма зачастую занимают еще более радикальную позицию: они настаивают, что раз капитализм представляет собой тотальную систему, то любой, кто считает, что действует вне ее, или выбирает не созданные системой ценности, обманывает сам себя. Когда я рассказываю о концепции бредовой работы на собраниях радикалов, часто поднимается кто-то, с головой увязший в марксистской теории, и объявляет, что я ошибаюсь: может, некоторые и считают свою работу бесполезной, но эта работа приносит прибыль капитализму, а при нынешней капиталистической системе только это и имеет значение[164]. Есть и другие люди, которые еще тоньше разбираются в этих деталях и объясняют, что то, о чем я говорю, – это, разумеется, на самом деле разница между тем, что Маркс называл «производительным» и «непроизводительным» трудом (под этим он подразумевал труд производительный и непроизводительный для капиталистов). Производительный труд создает определенную прибавочную стоимость, из которой капиталисты могут извлечь прибыль; прочий же труд в лучшем случае является «воспроизводительным» – вроде работы по дому или образования (эти два занятия всегда используют в качестве основных примеров). Такая деятельность представляет собой необходимую работу второго порядка, поддерживая жизнь работников и воспитывая новые

поколения, которые в будущем, в свою очередь, смогут заниматься «настоящим» трудом, который будет эксплуатироваться[165].

Безусловно, капиталисты сами зачастую видят ситуацию именно так. Например, хорошо известно, что лоббисты от бизнеса настоятельно призывают правительство относиться к школам в первую очередь как к местам подготовки будущих работников. Может показаться несколько странным, что такой же логикой руководствуются и противники капитализма, но в этом есть определенный смысл: это способ сказать, что полумеры никогда не помогут. Например, благонамеренный либерал, покупающий кофе, произведенный сторонниками «справедливой торговли», и дающий деньги на оплату платформы на колесах на гей-параде, в действительности не бросает сколь-нибудь существенного вызова властным структурам власти и несправедливости в мире, а в конечном счете просто воспроизводит их на другом уровне. Это весьма важный аргумент: самодовольные либералы раздражают и заслуживают того, чтобы им об этом напоминали. Однако меня здесь смущает, что мы слишком быстро перепрыгиваем сюда от утверждения, что с точки зрения капитализма единственный смысл материнской любви или учительского труда состоит в воспроизводстве рабочей силы. Меня беспокоит предположение, что, следовательно, любая другая точка зрения на этот вопрос всегда неуместна, иллюзорна или ошибочна. Капитализм – это не единая тотальная система, которая определяет и охватывает все стороны нашего существования. Неясно даже, есть ли смысл вообще говорить о «капитализме» (Маркс, например, никогда о «капитализме» не говорил), понимая «капитализм» как набор абстрактных идей, которые каким-то образом материализовались на предприятиях и в офисах. Мир устроен более сложно и запутанно. Исторически сначала появились предприятия и офисы – задолго до того, как кто-то придумал, как их называть; и по сей день они управляются разными, взаимно противоречащими логиками и целями. Аналогичным образом ценность – предмет постоянного политического спора. Никто в точности не знает, что это такое.

* * *

В современном английском языке мы, как правило, различаем «ценность» в единственном числе (например, ценность золота, свиной грудинки, антиквариата и производных финансовых инструментов) и «ценности» во множественном числе (например, семейные ценности, религиозная мораль, политические идеалы, красота, истина, честность и так далее). В основном мы используем слово «ценность» в контексте экономических вопросов, которые обычно сводятся к тем человеческим занятиям, где людям платят за труд или где их действия иным образом направлены на получение денег. Слово «ценности» появляются, когда речь идет о другом. Например, работа по дому и уход за детьми, несомненно, являются самыми распространенными формами неоплачиваемого труда, и поэтому мы постоянно слышим о значении семейных ценностей. Но участие в церковных мероприятиях, благотворительность, политическое волонтерство и большая часть творческой и научной деятельности также не оплачиваются. Даже когда скульптор становится сказочно богатым и женится на порнозвезде, а гуру становится владельцем целого автопарка роллс-ройсов, большинство будет считать его богатство легитимным лишь тогда, когда оно является своего рода побочным эффектом: ведь по крайней мере изначально он занимался своим

делом не только ради денег.

Деньги приносят возможность проводить точные количественные сравнения. Благодаря деньгам можно сказать, что ценность такого-то объема чугуна эквивалентна ценности такого-то числа фруктовых напитков, походов на педикюр или билетов на музыкальный фестиваль Гластонбери. Это может показаться очевидным, но следствия отсюда имеют большое значение. Это означает, что рыночная ценность товара является как раз той степенью, в которой товар можно сравнить с чем-то другим и, следовательно, обменять. Именно этого не происходит в области ценностей. Иногда мы можем сказать, что одно произведение искусства прекраснее другого или что один святоша благочестивее другого, но было бы странно спрашивать насколько и заявлять, что этот монах в пять раз благочестивее того или эта картина Рембрандта в два раза прекраснее той работы Моне[166]. И еще абсурднее было бы пытаться разработать математическую формулу для вычисления того, насколько правильно пренебрегать семьей, занимаясь искусством, или нарушать закон во имя социальной справедливости. Разумеется, люди постоянно принимают такие решения, но они по определению не поддаются количественной оценке.

Фактически можно даже сказать, что именно это и есть ключ к пониманию их ценности. Так же как у товаров есть экономическая ценность, потому что их можно точно сравнить с другими товарами, ценности являются ценными, потому что их ни с чем сравнить нельзя. Все они считаются уникальными, несоизмеримыми – одним словом, бесценными.

Мне кажется, что слова «ценность» и «ценности» стали частью нашего здравого смысла; мы обращаемся к ним, когда размышляем о столь сложных вопросах. Это не худший вариант. И всё же это скорее наше идеальное представление о том, как всё должно быть устроено, нежели точное отражение того, как всё устроено на самом деле. Ведь нельзя сказать, что жизнь на самом деле делится на экономику, где все думают только о деньгах и личных материальных интересах, и на другие сферы (политика, религия, семья и так далее), где люди ведут себя совершенно иначе. Истинные мотивы всегда разнородны. Здесь важно подчеркнуть, что на протяжении большей части истории человечества никому не приходило в голову даже проводить такие разграничения. Сами представления о том, что человек может руководствоваться исключительно личным интересом или бескорыстным альтруизмом, выглядели бы в равной степени странными – такими же странными, как и идея «продажи своего времени». Подобное стало возможно только после того, как примерно около 600 года до н. э. в Евразии начали появляться безличные рынки. Изобретение чеканки монет позволило создавать рынки, на которых незнакомцы могли взаимодействовать друг с другом исключительно с целью получения материальной прибыли. Где бы ни появлялись подобные рынки, будь то Китай, Индия или Средиземноморье, вслед за ними незамедлительно зарождались универсальные религии, каждая из которых проповедовала, что материальные вещи не имеют значения, а благочестивые люди должны бескорыстно жертвовать свое имущество на благотворительность. Но попытки создать абсолютный заслон между материальным эгоизмом и бескорыстным идеализмом (ценность и ценности) обернулись неудачей: в конце концов они всегда смешивались. Причем необходимо подчеркнуть, что это смешение не было однонаправленным. Да, часто оказывается, что художники, идеалисты, священники и государственные деятели втайне руководствуются какими-то личными материальными выгодами, а иногда и чем-то похуже; однако в равной

степени бизнесмены гордятся своим благородством или добросовестностью, а работники мучаются вопросом о том, действительно ли их работа приносит кому-нибудь пользу.

Именно это заботит людей, которые задаются вопросом о более глобальном значении своей работы. В большинстве полученных мною историй слово «значимый» выступало в качестве синонима слов «полезный», «ценный» и «благодетельный». Посмотрим, как люди размышляют о ценности своей работы:

“ Продавец машин: Я работаю в крупной американской финансовой компании, которая продает подержанные автомобили на рынке в субстандартный кредит. Я часто задумываюсь о том, приносит ли моя работа пользу кому-либо, кроме собственников компании.

Аэрокосмический инженер: Высшее руководство с удовольствием работает по пятьдесят-шестьдесят часов в неделю (и призывает всех своих приспешников делать так же). Они хотят выглядеть занятыми, хотя на самом деле не производят ничего ценного... Правда, если в качестве побочных продуктов их деятельности создаются знания и новые технологии, то в таком случае всё же можно сказать, что их работа сохраняет определенную ценность. На моей работе это иногда случается, но это скорее исключения, чем правило.

Агент по продажам на телефоне: Эта работа не имеет вообще никакой общественной ценности. Если вы расставляете товар на полках в супермаркете, то вы хотя бы делаете что-то, что приносит людям пользу. Всем нужны продукты и другие товары, которые продаются в супермаркете. Если вы работаете в call-центре, то ваши звонки чаще всего просто надоедают людям и зря тратят их время.

Научный переводчик – фрилансер: За эти годы я перевел работы почти по всем академическим дисциплинам – от экологии до корпоративного права, от социологии до информатики. Подавляющее большинство этих работ не имеет вообще никакой ощутимой ценности для человечества.

Фармацевт: Я избрал медицинскую профессию, предполагая, что моя работа будет значимой, а мой труд – помогать людям. В действительности я понял, что большая часть медицинской сферы – это картонный домик. Я не согласен с тем, что доктора на своей работе по-настоящему помогают людям.

Госслужащий: У меня было несколько должностей, и вся эта работа ничем никому не помогла[167].

Вряд ли большинство читателей узнали что-то новое из приведенных отрывков; почти все, кто абстрактно размышляет о своей работе, отзываются о ней подобным образом. После того как отец Эрика из главы 3 как следует отчитал его, назвав невероятным придурком за

то, что тот ушел со столь высокооплачиваемой работы, он добавил: «Какой вообще прок мог быть от этой работы?»

Упомянутый выше агент по продажам прямо обращался к понятию общественной ценности – ценности для общества в целом. Это понятие периодически упоминается и в других рассказах:

“ Менеджер ассоциации домовладельцев: Управлять ассоциацией домовладельцев – стопроцентный бред. Богатые люди покупают дом вместе с кучей других богатых незнакомцев, потом нанимают того, кто будет управлять им и поддерживать его в надлежащем состоянии. Эта работа существует только потому, что владельцы не любят друг друга или не доверяют своим соседям. Я три года занимался этим и не увидел ни намека на общественную ценность.

Или вспомним Найджела, улучшателя данных, который упоминался в главе 4. Он тратил сотни часов, просматривая информацию по картам лояльности разных компаний в поисках несущественных ошибок:

“ Улучшатель данных: Я действительно думаю, что если бы мы обрабатывали заявки на что-то, имеющее более очевидную общественную ценность (скажем, на трансплантацию органов или на билеты на Гластонбери), то испытывали бы совсем другое чувство.

Интересно сопоставить эти два рассказа, потому что они демонстрируют, что для большинства людей общественная ценность связана не только с производством материальных благ или даже досугом. Она связана также и с производством общения. Донорство органов позволяет одним людям спасти жизни других; музыкальный фестиваль Гластонбери дает людям возможность потолкаться в грязи, покурить вместе травку и сыграть или послушать любимую музыку – то есть порадовать друг друга и принести друг другу счастье. Можно считать, что такой коллективный опыт обладает «очевидной общественной ценностью». И наоборот, в том, что богатым людям будет легче избегать друг друга (известно, что очень состоятельные люди почти всегда не любят своих соседей), «нет и намека на общественную ценность».

Итак, очевидно, что такого рода общественную ценность невозможно измерить. Несомненно, если бы кому-то пришлось встретиться с теми работниками, чьи истории я приводил выше, то он обнаружил бы, что все они несколько по-разному представляют, что полезно и значимо для общества, а что нет. Однако я подозреваю, что все они согласились бы по поводу по меньшей мере двух вещей. Во-первых, что самое полезное, что можно извлечь из работы, – это 1) деньги, чтобы оплачивать счета, и 2) возможность принести миру пользу. А во-вторых, что между двумя этими вещами существует обратная зависимость. Чем больше твой труд помогает и приносит другим блага, чем выше создаваемая тобой общественная ценность, тем меньше вероятность, что тебе за него заплатят.

По поводу обратной зависимости между общественной ценностью труда и его оплатой

“ Virtutum omnium pretium in ipsis est. Ценность всех добродетелей – в них самих.

Эпиктет

В исходной статье о бредовой работе 2013 года я подчеркнул один момент, поразивший меня во время акции «Захвати Уолл-стрит», прошедшей двумя годами ранее. Сторонники движения (особенно те, кто слишком много работал и не мог проводить длительное время в палаточном лагере, а приходил только на марши или выражал поддержку в интернете) часто жаловались: «Я хотел делать что-то полезное в своей жизни; заниматься работой, которая позитивно воздействует на других людей или, по крайней мере, не приносит никому вреда. Но в существующей экономической системе если ваша работа связана с заботой об окружающих, то вы получаете так мало и залезаете в такие долги, что не сможете позаботиться о собственной семье». Люди постоянно чувствовали дикую злость из-за несправедливости такого общественного устройства[168]. Про себя я стал называть это «восстанием заботливого класса». В то же время люди, которые участвовали в захвате манхэттенского Зукотти-парка, регулярно рассказывали о своих беседах с молодыми трейдерами с Уолл-стрит, которые подходили к ним и говорили что-то вроде: «Послушайте, ребята, я знаю, что вы правы; я не приношу миру никакой пользы, система поражена коррупцией, и я, наверное, часть этой проблемы. Я завтра же уволюсь, если вы расскажете мне, как прожить в Нью-Йорке на зарплату меньше ста тысяч».

Герои некоторых из уже рассмотренных нами историй сталкивались с аналогичными дилеммами: вспомним Энни, которая рассказывала, что множество женщин, которые работали с дошкольниками, в конце концов были вынуждены уволиться и найти себе офисную работу, чтобы платить за жилье, или Ганнибала, медика-исследователя, который подытожил свой опыт в области медицины формулой: «Сумма денег, которую я могу брать за выполнение работы, находится почти в точной обратной зависимости от того, насколько она полезна».

Простой мысленный эксперимент, приведенный в исходном эссе 2013 года, демонстрирует, что существует реальная проблема. Тогда я просил читателей представить, что определенный класс людей просто исчез. Позвольте мне чуть развить этот эксперимент. Если однажды мы проснемся утром и обнаружим, что не только медсестер, мусорщиков и механиков, но, если уж на то пошло, также и водителей автобусов, работников продуктовых магазинов, пожарных и поваров из заведений общепита унесло в какое-нибудь другое измерение, то результаты тоже будут катастрофическими. Если бы исчезли учителя начальных школ, то большинство школьников, вероятно, день-другой отмечали бы этот

праздник, но долгосрочные последствия были бы еще более пагубными. Или другой пример: мы, конечно, можем спорить о том, что лучше: дет-метал или клезмерская музыка, любовные романы или научная фантастика, однако даже если внезапное исчезновение некоторых категорий писателей, художников или музыкантов кого-то оставит безразличным, а кого-то, возможно, даже порадует, то для остальных всё же мир после этого, несомненно, станет более мрачным и депрессивным местом[169].

То же самое нельзя сказать про менеджеров хедж-фондов, политических консультантов, гуру маркетинга, лоббистов, корпоративных юристов или людей, чья работа заключается в том, чтобы извиняться за то, что плотник не пришел. Финн из главы 4 так отзывался о своей фирме, которая продает лицензионное программное обеспечение: «Если бы я пришел на работу в понедельник и не обнаружил своего офиса, то наплевать было бы не только всему обществу, но и мне самому». Я уверен, что каждый читатель этой книги может навскидку вспомнить несколько таких офисов, исчезновение которых сделало бы мир только лучше.

При этом во многих из них работают люди, которые получают очень высокую зарплату.

На самом деле часто выходит так, что важнейшие руководящие должности в организации долгое время могут оставаться вакантными, и это ни на что особо не влияет, даже на саму организацию. За последние годы Бельгия пережила несколько конституционных кризисов, которые временно лишали ее действующего правительства: не было премьер-министра и никто не отвечал за здравоохранение, транспорт и образование. Иногда эти кризисы продолжались очень долго (текущий рекорд составляет пятьсот сорок один день), и всё это без какого-либо видимого вреда для здравоохранения, транспорта или образования. Можно предположить, что если бы так продолжалось на протяжении десятилетий, то всё было бы несколько иначе; но неясно, насколько иначе и какие бы последствия преобладали: позитивные или негативные[170]. Аналогичным образом, в то время как я пишу эту книгу, из корпорации Uber, которая считается одной из наиболее динамично развивающихся в мире, ушел не только ее основатель, Трэвис Каланик, но и целый ряд других высокопоставленных руководителей. В результате компания «в настоящее время работает без генерального директора, главного операционного директора, главного финансового директора и главного директора по маркетингу» – и это никак видимым образом не влияет на ее повседневную деятельность[171].

По аналогичной причине работники финансового сектора, которые в целом получают чрезвычайно высокую зарплату, почти никогда не участвуют в забастовках. Как любит вспоминать Рутгер Брегман, в 1970 году в Ирландии прошла шестимесячная забастовка банковских служащих; экономического коллапса, которого ожидали организаторы, не случилось. Большинство людей просто продолжили выписывать чеки, которые начали циркулировать как своего рода валюта, но в остальном жизнь продолжала идти своим чередом. За два года до этого, когда мусорщики вышли на десятидневную забастовку в Нью-Йорке, город уступил их требованиям, потому что в нем стало невозможно жить[172].

* * *

На самом деле мало кто из экономистов пытался подсчитать общую общественную ценность разных профессий; большинство из них, видимо, сочло бы это дурацкой затеей. Однако те, кто пытался, в целом подтверждают, что обратная взаимосвязь между пользой и оплатой действительно существует. В работе 2017 года американские экономисты Бенджамин Локвуд, Чарльз Натансон и Глен Вейль прочесали существующую литературу по «экстерналиям» (общественные издержки) и «эффектам перелива» (общественные блага), связанным с разными высокооплачиваемыми профессиями. Они хотели выяснить, возможно ли подсчитать, сколько каждая профессия прибавляет или вычитает из экономики в целом. Они пришли к выводу, что в некоторых случаях (прежде всего связанных с креативными индустриями) рассматриваемые ценности невозможно измерить, потому что они слишком субъективны; однако в остальных случаях их можно было приблизительно оценить. Вот их заключение: из тех работников, чей вклад можно подсчитать, наиболее общественно значимыми являются медики-исследователи, которые приносят обществу девять долларов общей ценности на каждый заработанный ими доллар. Наименее ценными оказались работники финансового сектора, которые в среднем вычитают чистый доллар и восемьдесят центов из общей ценности для общества на каждый заработанный доллар. (Конечно, работники финансового сектора часто и зарабатывают очень хорошо.)

Вот полученное ими общее распределение по профессиям[173].

- Исследователи: + 9
- Школьные учителя: + 1
- Инженеры: + 0,2
- Консультанты и IT-специалисты: 0
- Адвокаты: - 0,2
- Рекламщики и специалисты по маркетингу: - 0,3
- Менеджеры: - 0,8
- Финансовый сектор: - 1,5

Здорово, что эти цифры были подсчитаны, потому что представляется, что они подтверждают подозрения многих людей об общей ценности таких профессий. Авторы, однако, уделяют основное внимание наиболее оплачиваемым профессиям, что ограничивает возможности использования этих данных для наших целей. Средняя зарплата школьных учителей, вероятно, самая низкая среди всех перечисленных профессий, и многие исследователи также получают очень мало, поэтому результаты точно не противоречат гипотезе о существовании негативной взаимосвязи между оплатой и пользой; но чтобы получить реальное представление обо всей сфере занятости, требуется более широкая выборка.

Среди известных мне исследований ближе всего к этой задаче проект британского Фонда новой экономики; он располагает наиболее широкой выборкой. Авторы исследования использовали метод под названием «анализ социального возврата на инвестиции», чтобы рассмотреть шесть видов занятий, представляющих структуру занятости в целом: три высокооплачиваемых и три низкооплачиваемых. Вот краткий обзор их результатов:

- банкир: годовая зарплата около пяти миллионов фунтов стерлингов; уничтожает приблизительно семь фунтов общественной ценности на каждый заработанный фунт;
- директор по рекламе: годовая зарплата около пятисот тысяч фунтов стерлингов; уничтожает приблизительно 11,5 фунта общественной ценности на каждый заработанный фунт;
- бухгалтер: годовая зарплата около ста двадцати пяти тысяч фунтов стерлингов; уничтожает приблизительно 11,2 фунта общественной ценности на каждый заработанный фунт;
- больничный санитар: годовая зарплата около тринадцати тысяч фунтов стерлингов (6,26 фунта в час); приносит приблизительно десять фунтов общественной ценности на каждый заработанный фунт;
- рабочий в сфере утилизации: годовая зарплата около двенадцати тысяч пятисот фунтов стерлингов (6,10 фунта в час); приносит приблизительно двенадцать фунтов общественной ценности на каждый заработанный фунт;
- воспитатель в детском саду: зарплата около одиннадцати тысяч пятисот фунтов стерлингов; приносит приблизительно семь фунтов общественной ценности на каждый заработанный фунт[174].

Авторы признают, что многие их подсчеты несколько субъективны, как и все подобные расчеты, и что исследование уделяет основное внимание тем, кто находится в верхней и нижней части шкалы доходов. В результате оно упускает из виду значительную часть рабочих мест, которые рассматриваются в этой книге, где зарплата на среднем уровне, а общественная выгода обычно не положительная и не отрицательная, а колеблется в районе нуля. Тем не менее, с учетом всех ограничений, полученные в исследовании результаты явно подтверждают общий принцип, согласно которому чем больше пользы другим приносит работа, тем меньше человек за нее получает.

Впрочем, есть и исключения; самое очевидное из них – врачи. По уровню зарплаты они, как правило, находятся в верхней части шкалы доходов, особенно в Америке, и при этом они, бесспорно, играют положительную роль. Но всё равно существуют медицинские работники, которые станут утверждать, что на самом деле они не такие уж исключения, как может показаться; например, фармацевт, слова которого приводились несколькими страницами выше, был убежден, что большинство врачей мало что делают для здоровья и счастья людей, а в основном просто раздают пациентам плацебо. Может, это правда, а может, и нет; честно говоря, я не обладаю достаточной компетентностью, чтобы сказать точно. Во всяком случае, часто указывают на то, что начиная с 1900 года продолжительность жизни увеличивается в основном благодаря гигиене, питанию и другим улучшениям в системе заботы о здоровье, а не из-за повышения уровня медицинской помощи[175]. Исходя из этого, вероятно, можно попытаться доказать, что медсестры и санитары в больницах (которые получают очень мало) на самом деле внесли больший позитивный вклад в повышение уровня здоровья, чем врачи (которые зарабатывают очень много).

Есть и еще несколько исключений. Многие водопроводчики и электрики, например, выполняют полезную работу и при этом достаточно неплохо получают; а низкооплачиваемая работа иногда довольно бессмысленна. Но в целом это правило, по-видимому, работает[176].

Однако причины существования обратной взаимосвязи между общественным благом и размером вознаграждения – это совсем иной вопрос. Судя по всему, простые ответы тут не помогут. Приведу пример: уровень образования очень важен при определении уровня зарплаты. Однако если бы это было просто вопросом профессиональной подготовки и образования, то американская система высшего образования вряд ли оказалась бы в том состоянии, в котором она находится, когда тысячи высококвалифицированных обладателей докторских степеней работают преподавателями-почасовиками, живут за чертой бедности и даже вынуждены пользоваться продовольственными талонами[177]. С другой стороны, если бы речь шла просто о соотношении спроса и предложения, то было бы невозможно понять, почему медсестры в Америке получают гораздо меньше корпоративных юристов, хотя США в настоящее время испытывают острую нехватку квалифицированных медсестер и переизбыток выпускников юридических факультетов[178].

Я считаю, что происходящее в значительной степени связано с классовой властью и классовой лояльностью, но какими бы ни были причины, наибольшую обеспокоенность в этой ситуации вызывает то, что многие люди не только знают о существовании этой обратной зависимости, но и считают, что так всё и должно быть. Они согласны с античными стоиками, которые утверждали, что добродетель должна быть наградой сама для себя.

Подобные аргументы давно используются в отношении учителей. Часто можно услышать, что преподаватели начальной или средней школы не должны получать столько же, сколько адвокаты или управляющие, да и вообще не стоит им много платить, если мы не хотим, чтобы детей учили люди, для которых нажива – главная мотивация. В этом аргументе был бы некоторый смысл, если бы он применялся последовательно, но этого никогда не происходит. (Я еще не слышал, чтобы кто-то говорил подобное о врачах.)

Можно даже сказать, что представление о том, что люди, которые приносят обществу пользу, не должны слишком хорошо зарабатывать, – это извращение идеи эгалитаризма.

Позвольте объяснить, что я имею в виду. Моральный философ Джеральд Коэн утверждал, что принцип равенства доходов для всех членов общества можно защищать на следующих основаниях (точнее, это мой примитивный пересказ). Он задается вопросом о том, почему одним людям стоит платить больше, чем другим. Обычно это обосновывается тем, что некоторые работают более производительнее или приносят обществу больше блага. Но в таком случае следует спросить, почему дело обстоит именно так:

1. Если одни люди талантливее других (например, обладают красивым голосом, являются гениальными комиками или математиками), то мы называем их одаренными. Но если кто-то уже получил выгоду («дар»), то не имеет смысла давать ему за это дополнительную выгоду (больше денег).

2. Если одни люди работают усерднее других, то обычно невозможно установить, в какой степени это происходит потому, что они более работоспособны (снова речь идет о даре), а в какой – потому, что усерднее работают по своей воле. В первом случае вновь не имеет смысла дополнительно вознаграждать их за то, что они обладают врожденным преимуществом перед другими.

3. Даже если можно было бы доказать, что одни работают усерднее других исключительно по своей воле, то нужно было бы установить, делают ли они это из альтруистических соображений (то есть производят больше, потому что хотят принести благо обществу) или руководствуясь корыстными интересами, потому что стремятся получить бóльшую выгоду для себя.

4. В предыдущем случае если они производят больше потому, что стремятся повысить уровень общественного благосостояния, то давать им непропорционально большую долю этого благосостояния значит противоречить их собственной цели. С нравственной точки зрения правильно вознаграждать только тех, кто руководствуется корыстными интересами.

5. Поскольку мотивы, которыми руководствуются люди, обычно изменчивы и разнородны, то работников нельзя просто разделить на альтруистов и эгоистов. Встает выбор: либо вознаграждать всех, кто прилагает более активные усилия, либо не вознаграждать никого. Любой из этих вариантов предполагает, что чьи-то замыслы не осуществляются. Альтруисты не смогут принести пользу обществу, в то время как эгоистам не удастся достичь своих корыстных целей. Если необходимо выбирать из этих вариантов, то с нравственной точки зрения лучше расстроить эгоистов.

6. Таким образом, более активные усилия или более производительный труд не должны вознаграждаться более высокой зарплатой или любым другим образом[179].

Логика безупречна. Многие из принятых предпосылок, несомненно, могут быть оспорены по целому ряду причин. Но в этой главе меня интересуют не столько основания моральной аргументации за равное перераспределение доходов, сколько то, что наше общество в целом приняло пункты 3 и 4, отказавшись при этом от пунктов 1, 2, 5 и 6. А самое главное – оно не согласно с тем, что работников невозможно разделить по их мотивам, и полагает, что достаточно лишь взглянуть на то, какой вид занятости выбрал работник. Существует ли помимо денег причина, по которой человек может заниматься этой работой? Если да, то в таком случае к нему нужно применять пункт 4.

В результате возникло представление, что людям, которые выбрали приносить пользу обществу, и прежде всего тем, кто получает удовлетворение от осознания, что они приносят обществу пользу, не стоит рассчитывать на зарплату среднего класса, оплачиваемый отпуск и щедрые пенсионные пособия. И наоборот, утвердилось мнение, что люди, которые страдают от осознания, что они выполняют бессмысленную или даже вредную работу только ради денег, именно по этой причине должны получать щедрое вознаграждение.

В политике это проявляется постоянно. Например, в Великобритании за восемь лет режима «экономии» были сокращены зарплаты почти всех работников бюджетного сектора, которые

приносили непосредственную и очевидную пользу обществу: медсестер, водителей автобусов, пожарных, работников информационных кабинок на железной дороге, врачей скорой помощи. Дошло до того, что некоторые медсестры на полной ставке стали зависеть от помощи благотворительных продовольственных фондов. При этом партия власти настолько гордилась тем, что создала эту ситуацию, что парламентарии, как известно, дружно аплодировали, когда отклоняли законопроекты, которые предполагали повышение зарплаты для медсестер или полицейских. При удивительном потворстве той же партии произошло резкое повышение заработной платы тех самых банкиров из лондонского Сити, которые за несколько лет до этого чуть не разрушили мировую экономику. И при этом популярность правительства осталась на высоком уровне. Сложилось представление, что в соответствии с этикой общей жертвы во имя общего блага приносить жертву в первую очередь должны те, кто уже и так делает это в силу выбранной ими работы. Или же те, кто просто удовлетворен осознанием того, что их труд производителен и полезен.

Это может иметь смысл только в одном случае – если изначально предполагается, что работа (точнее, оплачиваемая работа) самоценна. Более того, что работа настолько самоценна, что как мотивы человека, который устраивается на работу, так и воздействие этой работы на общество оказываются в лучшем случае второстепенными вопросами. Обратная сторона левых маршей с плакатами «Больше рабочих мест» – правые зеваки, которые бормочут: «Найдите уже себе работу!», когда марши проходят мимо. Кажется, в обществе сложился консенсус не столько в отношении того, что работа – это хорошо, сколько в отношении того, что не работать – очень плохо; что любой, кто не надрывается усерднее, чем ему хотелось бы, занимаясь тем, что ему не особенно нравится, – плохой человек, попрошайка, лодырь, презренный паразит, недостойный сочувствия или помощи от общества. С этим согласны как либеральные политики, недовольные страданиями «трудяг» (а что насчет тех, кто работает с умеренной интенсивностью?), так и участники консервативных протестов, выступающие против лодырей и «королев пособий». Что еще более поразительно, те же ценности сейчас применяются и на самом верху. Мы больше не слышим о праздных богачах – не потому, что их не существует, а потому, что праздность перестала быть чем-то похвальным. Во времена Великой депрессии 1930-х годов обедневшая публика любила смотреть фильмы про жизнь высшего общества, наблюдая за романтическими выходками миллионеров-плейбоев. Сейчас ее чаще всего потчуют историями про героических гендиректоров-трудооголиков с плотным графиком от рассвета до заката[180]. В Англии газеты и журналы пишут похожие вещи даже про королевскую семью: нам теперь говорят, что ее члены тратят так много часов в неделю на подготовку и исполнение своих ритуальных функций, что на личную жизнь едва остается время.

Авторы многих историй говорили об этой нравственной логике работы как цели-в-себе. Клемент описывал свое занятие как «бредовую работу по оценке грантов в университете штата на Среднем Западе». В свободное время, которого у него было очень много, он сидел в интернете, знакомясь с альтернативными политическими взглядами, и со временем понял, что значительная часть денег, проходящих через его офис, была напрямую связана с военными действиями США в Ираке и Афганистане. Он уволился и, к удивлению и недоумению коллег, занял должность в местном муниципалитете со значительным понижением зарплаты. Как он говорит, работа там труднее, но «хотя бы отчасти интересная и помогает людям».

Среди прочего Клемент озадачивало то, что все на его старой работе считали необходимым притворяться друг перед другом, что они перегружены обязанностями, несмотря на то что им очевидно было практически нечем заняться:

“ Клемент: Мои коллеги часто обсуждали, как они заняты и насколько усердно работают, хотя обычно уходили с работы уже в два-три часа дня. Я даже не знаю, как назвать такое публичное отрицание того, что кристально ясно.

Я всё продолжаю думать о том, что от нас требуют оценивать себя и других на основании того, насколько усердно мы занимаемся тем, чем заниматься не хотим. По-моему, такое отношение витает в воздухе, мы вдыхаем его носом и потом выдыхаем во время повседневных разговоров. Это стало социальным рефлексом, который выступает одним из основополагающих принципов социальных отношений: если ты не разрушаешь свое тело и разум посредством оплачиваемого труда, то ты живешь неправильно. И мы должны верить, что жертвуем собой ради наших детей или типа того – тех самых детей, которых почти не видим, потому что целый гребаный день проводим на работе?!

Клемент считает, что такого рода давление особенно остро проявляется в культуре американского Среднего Запада, на которую повлиял немецкий протестантизм; другие же упоминали о пуританстве. По всей видимости, однако, протестантами и Северной Атлантикой дело не ограничивается. Это чувство существует повсюду: различаются лишь степень и интенсивность. Если ценность работы отчасти связана с тем, что это «то, чем мы заниматься не хотим», то логично, что то, чем мы хотим заниматься, – это скорее не работа, а игра, хобби или что-то, чем занимаешься во время досуга. А стало быть, это в меньшей степени заслуживает материального вознаграждения. Возможно, нам вообще не должны за это платить.

Я испытал это и на своем опыте. Большинство академических исследователей изначально приходят в науку из-за того, что они любят знания, а новые идеи вызывают у них восторг. Ведь практически любой, кто способен потратить семь лет на получение докторской степени, знает, что с тем же успехом он мог бы провести три года на юридическом факультете и сразу после университета получать во много раз больше. Но несмотря на это, когда двое ученых с одного и того же факультета беседуют за чашкой кофе, вряд ли они станут говорить о любви к знаниям и о том, какой восторг у них вызывают новые идеи. Почти наверняка они будут жаловаться на то, как они перегружены административными обязанностями. Правда, отчасти это вызвано тем, что ученым приходится тратить всё меньше времени на чтение и написание работ и всё больше – на решение административных проблем[181]. Но даже если ты близок к захватывающему интеллектуальному открытию, то считается неприличным вести себя так, будто тебе нравится твоя работа, в то время как остальным она очевидно не нравится. В разных местах академическая среда бывает разной; иногда она настроена более враждебно к интеллектуальному труду, иногда – менее. Но повсюду присутствует ощущение, что тебе на самом деле платят не за ту деятельность, которая приносит удовольствие (например,

мышление); такие стороны работы лучше считать поблажками, которые ты периодически получаешь в знак признания твоей настоящей работы, которая состоит главным образом в заполнении форм.

Ученым не платят за написание или рецензирование научных статей. Однако по крайней мере университеты, где они получают зарплату, признают, хоть и неохотно, что исследования являются частью их рабочих обязанностей. В мире бизнеса дела обстоят хуже. Например, Джефф Шулленбергер, профессор Нью-Йоркского университета, в ответ на мое исходное эссе 2013 года разместил в своем блоге заметку. Он написал, что многие бизнесмены сейчас считают, что если работа приносит хотя бы какое-нибудь удовольствие, то они не обязаны за нее платить:

“ По мнению Гребера, бредовая работа включает в себе моральный императив: «Если ты не занят всё время, занимаясь чем угодно – неважно чем, – то ты плохой человек». Но у этой логики есть и обратная сторона: если тебе действительно нравится заниматься работой X, если это ценно, значимо, если эта работа приносит тебе удовлетворение, то было бы неправильно ожидать, что тебе станут за нее (хорошо) платить. Ты должен выполнять ее бесплатно, даже (и особенно) если таким образом позволяешь получить выгоду другим. Другими словами, мы будем зарабатывать себе на жизнь на том, что ты делаешь то, что любишь делать (бесплатно), но тебя мы будем держать под контролем и следить, чтобы ты зарабатывал на жизнь, занимаясь тем, что ненавидишь.

Шулленбергер привел в качестве примера работу переводчика. Мало кто станет переводить параграф или документ с одного языка на другой ради развлечения (особенно если это сухой деловой документ); тем не менее можно представить, что кто-то станет заниматься этим не только из материальных побуждений (например, люди хотят усовершенствовать свое владение языком). Поэтому большинство руководителей, узнав, что требуется работа переводчика, инстинктивно пытаются найти кого-нибудь, кто выполнит бы эту работу бесплатно. При этом те же самые руководители готовы щедро платить вице-президентам по креативной разработке и подобным людям, которые совершенно ничего не делают. (На самом деле, возможно, некоторые из этих руководителей и есть вице-президенты по креативной разработке, и единственное их занятие – придумывать, как заставить других работать бесплатно.)

Шулленбергер говорит о зарождающемся «волонтариате». Прибыль капиталистическим фирмам всё чаще приносит не оплачиваемый труд, а неоплачиваемая работа стажеров, интернет-энтузиастов, активистов, волонтеров и любителей. Они облагают «цифровой барщиной» продукты общественного энтузиазма и творчества, присваивают их и продают на рынке[182]. Образцом в этом отношении стала индустрия бесплатного программного обеспечения, что совершенно извратило ее смысл. Читатель может вспомнить Пабло, который ввел понятие «костыльщик» в главе 2. Разработчики программного обеспечения разрываются между интересной и сложной работой по разработке базовых программных технологий и утомительным трудом налаживания «костылей», при помощи которых разные

базовые программы смогут работать вместе, ведь разработчики не утруждали себя вопросами их совместимости. Однако его основной посыл состоит в том, что наличие открытого исходного кода приводит к тому, что все действительно увлекательные задачи всё чаще выполняются бесплатно:

“ Пабло: Если двадцать лет назад компании отказывались от программного обеспечения с открытым исходным кодом и разрабатывали базовые программы сами, то сейчас компании сильно зависят от программ с открытым исходным кодом и нанимают разработчиков программного обеспечения почти исключительно для того, чтобы придумывать костыли для программ, которые достались им бесплатно.

В итоге в рабочее время люди заняты неблагодарным трудом костыльщиков, а потом по ночам делают работу, которая приносит им удовлетворение, то есть разработкой базовых программ.

Возникает интересный порочный круг: давая этим людям возможность бесплатно работать над базовыми программами, компании не инвестируют в эти технологии. Нехватка инвестиций приводит к тому, что базовые программы часто оказываются недоработанными, низкокачественными, в них много недоделок, багов и так далее. Из-за этого, в свою очередь, возникает необходимость в «костылях», а значит, всё больше работы для костыльщиков.

Парадоксальным образом чем больше разработчики программного обеспечения совместно работают в интернете, занимаясь бесплатным созидательным трудом просто потому, что им это нравится, и принося дар человечеству, тем меньше у них стимулов делать программы совместимыми друг с другом и тем больше этим же разработчикам приходится трудиться на своей ежедневной работе, исправляя урон – занимаясь своего рода ремонтной работой, которую никто не согласился бы делать бесплатно. Он заключает:

“ Пабло: Я думаю, что аналогичные процессы вскоре можно будет наблюдать и в других отраслях. Никто не станет платить профессиональным журналистам, если люди готовы писать новостные статьи бесплатно. Вместо этого деньги будут перенаправлены в пиар и рекламу. В итоге качество новостей упадет из-за недостаточного финансирования.

Можно сказать, что этот процесс уже начался, поскольку всё меньше газет и информационных служб нанимают настоящих репортеров. Моя цель, однако, не в том, чтобы распутать клубок сложных и зачастую туманных трудовых соглашений, порожденных этим этосом, а в том, чтобы просто задокументировать существование самого этоса. Отношение к труду изменилось. Почему? Как получилось, что многие люди дошли до убеждения, что даже жалкая, ненужная работа с нравственной точки зрения предпочтительнее полного отсутствия работы?

Здесь мы должны рассмотреть, как с ходом истории менялось представление о самой работе.

О теологических корнях нашего отношения к труду

“ Человек сотворен во Вселенной по образу и подобию Самого Бога, и вселенское назначение человека – господствовать над землей... Лишь человек способен трудиться, лишь человек выполняет работу, и именно поэтому его земное существование связано с непрерывным трудом.

Папа Иоанн Павел II. Laborem Exercens (Совершая труд). 1981

“ Можно определить труд как всякое умственное или физическое усилие, предпринимаемое частично или целиком с целью достичь какого-либо результата, не считая удовлетворения, получаемого непосредственно от самой проделанной работы.

Альфред Маршалл. Принципы экономической науки. 1890

Что такое работа? Обычно мы рассматриваем ее как противоположность игре. Игра, в свою очередь, чаще всего определяется как действие, которое выполняется ради него самого, ради удовольствия или просто ради самого процесса. Следовательно, работа – это деятельность, обычно обременительная и однообразная, которая выполняется не ради нее самой и которую, вероятно, никто не стал бы выполнять ради нее самой (во всяком случае, продолжительное время). Ей занимаются только для достижения чего-то еще (например, чтобы добыть еду или построить усыпальницу).

В большинстве языков есть слово, которое хотя бы приблизительно можно перевести как «работа», но конкретные границы между словами «работа», «игра», «обучение», «учеба», «ритуал» и «уход», которые мы проводим в английском, как правило, сильно различаются в зависимости от культуры. Традиция, сформировавшая представление о работе в большинстве частей современного мира, зародилась в восточном Средиземноморье, где она впервые была задокументирована в начальных главах Книги Бытия и в работах греческого эпического поэта Гесиода. В истории о саде Эдем и в мифе о Прометее необходимость трудиться оказывается наказанием, которое люди несут за то, что они ослушались Божественного Творца. И в то же время в обеих историях сама работа, которая дает людям возможность производить еду, одежду, строить города и в конечном счете собственный материальный мир, представлена как более скромное воплощение Божественной силы самого Творца. Мы, как часто любили говорить экзистенциалисты, обречены быть свободными, вынуждены обладать божественной силой созидания против собственной воли, ведь большинство из нас предпочли бы придумывать названия животным в Эдеме, вкушать

нектар и амброзию на пирах на горе Олимп или наблюдать, как жареный гусь залетает прямо в нашу алчущую глотку, в Стране лентяев, а не зарабатывать себе порезы и мозоли, добывая пищу из земли.

Конечно, можно сказать, что в этих двух случаях перед нами просто литературная гиперболизация двух основных аспектов общепринятого сегодня определения работы. Во-первых, это работа, которой в обычных обстоятельствах никто бы не стал заниматься ради нее самой (отсюда наказание); во-вторых, мы всё равно занимаемся работой, чтобы достичь чего-то другого (отсюда созидание). Однако отнюдь не самоочевидно, что «достижение чего-то другого» обязательно следует понимать как «созидание». На самом деле это звучит несколько странно. В конце концов, бóльшая часть работы ничего не создает; обычно она сводится к поддержанию текущего состояния вещей и их перестановке[183]. Возьмем, например, кофейную чашку: мы производим ее только один раз, но моем ее тысячу раз. Даже работу, которую мы считаем производительной (выращивание картофеля, ковка лопаты, сборка компьютера), вполне можно рассматривать как уход, преобразование, реорганизацию и перестановку уже существующих материалов и элементов.

Вот почему я настаиваю, что наша идея «производства» и наша аксиома, что работа определяется ее «производительностью», имеют теологическую природу. Иудео-христианский Бог создал Вселенную из ничего. (Это само по себе несколько необычно: большинство богов работают с уже существующими материалами.) Его поздние почитатели и их потомки решили, что они обречены подражать Богу в этом отношении. Здесь имеет место хитрый трюк: основная часть человеческого труда (та, которую нельзя назвать производством) таким образом пропадает, и происходит это через гендерные различия. В знакомых строчках истории грехопадения в Книге Бытия Бог обрекает мужчин обрабатывать землю («В поте лица ты будешь есть свой хлеб»), а женщин – в таких же неблагоприятных обстоятельствах рожать детей («Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рожать детей»)[184]. Мужской «производительный» труд выглядит здесь эквивалентом деторождения, которое с мужской точки зрения настолько приближается к чистому созиданию *ex nihilo*, насколько это вообще возможно для людей (с женской точки зрения это выглядит не совсем так, однако здесь представлена именно мужская точка зрения). Полностью сформировавшийся младенец появляется как будто бы из ниоткуда.

Однако это тоже болезненный «труд»[185].

Это представление никуда не исчезло. Оно проявляется, например, в рассуждениях социальных ученых о «производстве» и «воспроизводстве». Этимологически английский глагол «производить» (*produce*) происходит от латинского «*producere*» – «порождать» или «выкладывать». Например, мы по-прежнему можем сказать: «Она выложила (*produced*) [186] кошелек из своей сумки». В основе слов «производство» и «воспроизводство» лежит одна и та же базовая метафора: в первом случае полностью сформированные предметы будто выпрыгивают из фабрик; во втором – полностью сформированные дети будто выпрыгивают из женских тел. Разумеется, в обоих случаях это на самом деле не так. Но часто в патриархальных обществах мужчинам нравится думать, что они в социальном и культурном смысле делают то же, что женщины делают естественным образом. «Производство», таким

образом, – это разновидность мужской фантазии одновременно о деторождении и о действиях Бога-Творца мужского пола, который аналогичным образом создал целую вселенную силой только своих слов и духа. Так же и мужчины считают, что создают мир, используя свой дух и мускулы. Они считают, что в этом заключается вся суть «работы», и, чтобы эта иллюзия сохранялась, женщины должны выполнять основную часть настоящего труда, занимаясь уборкой и поддержанием порядка.

О происхождении североевропейского представления о том, что необходимо заниматься оплачиваемым трудом, чтобы стать полноценным взрослым человеком

Важно подчеркнуть теологическое происхождение этой идеи. бóльшая часть ключевых предпосылок, на которых основывается современная экономика, восходит к теологическим аргументам: например, аргумент святого Августина, согласно которому мы обречены на неограниченные желания в ограниченном мире и потому естественным образом находимся в условиях конкуренции друг с другом, – в светской форме он вновь возникает в XVII веке в работах Томаса Гоббса. Этот аргумент дал основания утверждать, что рациональные действия людей в основном являются вопросом «экономии» – оптимального распределения ограниченных ресурсов рациональными субъектами в условиях конкуренции.

Конечно, в средневековой Европе, где экономические вопросы подпадали под юрисдикцию церковного права, никто не делал вид, будто они не являются теологическими. Однако в этот период появился дополнительный элемент, напрямую не связанный с теологией, значение которого для последующих концепций труда сложно переоценить. Речь идет о понятии «услужения» (*service*)[187]. Это в значительной степени североевропейская идея.

Теоретически феодальное общество было обширной системой служений: не только сервы, но и феодалы низшего уровня «служили» тем, кто стоял выше их на феодальной лестнице. Самые высокопоставленные из них несли феодальную службу королю. Однако наиболее важное и всепроникающее влияние на жизнь большинства людей оказывала не феодальная служба, а то, что в исторической социологии получило название «возрастного служения» (*life-cycle service*). На протяжении первых семи-пятнадцати лет своей трудовой жизни почти все должны были служить в чьем-то домашнем хозяйстве. Большинство знает, как это функционировало в ремесленных цехах, где подростков сначала отряжали к мастерам учениками, а затем они становились подмастерьями. Однако средства, чтобы жениться, создавать собственные семьи и открывать лавки, а также набирать собственных учеников, появлялись у них только после получения статуса мастера. На самом деле эта система вовсе

не ограничивалась ремесленниками. Даже крестьяне, как правило, должны были в подростковые годы «прислуживать в земледелии» в другом фермерском домохозяйстве, которое обычно было не сильно лучше их собственного. Этим должны были заниматься как мальчики, так и девочки (доярками, например, были как раз крестьянские дочери в годы службы). Как правило, эта обязанность ложилась даже на детей элиты. Самый известный пример – пажи, ученики рыцарей. Однако даже благородные дамы, если только они не находились на самой вершине иерархии, в отрочестве были фрейлинами – служанками, «прислуживавшими»[188] замужним благородным дамам, которые были несколько выше по рангу. Они занимались личными покоем своей госпожи, ее туалетом, питанием и так далее. В то же время фрейлина ожидала, когда ей самой придет время выйти замуж и стать хозяйкой в аристократической семье. При королевских дворах также были мальчики-придворные (gentleman waiters), которые заботились о королевских покоях[189].

В случае с молодыми дворянами «прислуживание»/«ожидание» главным образом означало ожидание наследства либо же ожидание, пока родители решат, что дворянин уже достаточно вырос, выпестован и заслуживает передачи титула и собственности. Так могло обстоять дело и с теми, кто прислуживал в сельском хозяйстве, но среди простонародья труд слуг, как правило, оплачивался, и предполагалось, что они будут сберегать значительную часть своей зарплаты. Таким образом они одновременно приобретали знания и опыт, нужные для управления домашним хозяйством, лавкой или фермой, а также состояние, необходимое, чтобы их приобрести (а в случае с женщинами – чтобы иметь возможность предоставить приданое жениху, который это сделает). В результате в Средние века люди вступали в брак поздно, обычно в возрасте около тридцати лет. Это означало, что «молодость», то есть отрочество, – время, когда человек бывает хотя бы немного взбалмошным, сладострастным и непокорным, – часто продолжалось добрых пятнадцать-двадцать лет.

Самое важное: работа слуг оплачивалась. Это означает, что, хотя оплачиваемый труд существовал в Северной Европе за несколько столетий до зарождения капитализма, почти все средневековые люди предполагали, что достойные уважения люди занимаются им только на первом этапе своей трудовой жизни. Услужение и оплачиваемый труд были практически одним и тем же; даже во времена Оливера Кромвеля поденных рабочих по-прежнему можно было называть слугами. Услужение же прежде всего рассматривалось как процесс, благодаря которому молодые люди не только изучали свое ремесло, но также учились манерам – тому, как должен вести себя взрослый ответственный человек. Часто приводят следующее сообщение венецианца, посетившего Англию около 1500 года:

“ Отсутствие теплых чувств у англичан особенно проявляется в их отношении к детям: дети живут дома максимум до семи-девяти лет, после этого как мальчиков, так и девочек отдают в другие дома, где они выполняют тяжелую работу слуг. Там они обязаны провести семь или девять лет[190]. Их называют воспитанниками. В течение этого времени они выполняют всю самую грязную работу; лишь немногие по праву рождения избавлены от этой участи, поскольку независимо от богатства все отсылают детей в чужие дома, а сами, в свою очередь, получают чужих детей. Когда

спрашиваешь, чем вызвана такая строгость, они отвечают, что делают это, чтобы их дети научились лучшим манерам[191].

В Средние века и в раннее Новое время манеры выходили далеко за рамки этикета; это понятие относилось в целом к манере поведения и образу жизни, привычкам, вкусам и чувствам. Молодые люди (если только они не собирались стать священниками или учеными) должны были работать по найму в чужих домах, потому что оплачиваемый труд и образование в то время считались примерно одним и тем же, то есть процессом обучения самодисциплине, «овладения своими низменными желаниями»[192] и усвоения, как правильно должен себя вести нормальный самостоятельный взрослый человек.

Это не означает, что в культуре Средневековья и раннего Нового времени не было места буйству юности. Напротив, молодые люди, даже будучи слугами в чужих домах, обычно создавали свою собственную альтернативную культуру. В ее центре были молодежные ложи с названиями вроде «Лорды хаоса» и «Аббаты безумия», которым иногда во время народных празднеств даже передавали власть. Но в конечном счете дисциплинированная работа под руководством взрослого главы домохозяйства должна была превратить молодых людей в дисциплинированных взрослых, после чего им уже не нужно было работать на других, и они могли работать на самих себя.

* * *

Благодаря такому порядку в Северной Европе к работе относились несколько иначе, чем в Античности, и даже, как мы могли видеть, иначе, чем впоследствии в Средиземноморье (венецианский посол был шокирован английскими обычаями). Большинство из имеющихся у нас источников по истории Древней Греции и Древнего Рима были созданы мужчинами-аристократами, которые считали, что заниматься физическим трудом и прислуживать могут только женщины или рабы. Аристотель настаивал, что работа никоим образом не делает человека лучше; на самом деле она только портит его, потому что отнимает так много времени, что его не остается на выполнение общественных и политических обязанностей. В результате классическая литература, как правило, подчеркивала в работе сторону, связанную с наказанием. В то же время творческая и божественная сторона работы отводилась в основном мужчинам – главам домохозяйств, достаточно богатым, чтобы не пачкать руки самим, а давать распоряжения другим. В Северной Европе в Средние века и во времена Возрождения почти всем так или иначе приходилось пачкать руки[193]. Поэтому считалось, что работа, особенно оплачиваемая, преобразует человека. Этот момент важен, поскольку он означает, что некоторые ключевые элементы будущей протестантской трудовой этики существовали еще задолго до появления протестантизма.

Как с возникновением капитализма работа стала рассматриваться многими либо в качестве инструмента

социальных реформ, либо как самостоятельная добродетель и как рабочие противостояли этому, приняв трудовую теорию стоимости

“ Нормальная история значений работы так и не была написана.

Чарльз Райт Миллс. Белые воротнички: американский средний класс. 1951

Всё изменилось с возникновением капитализма. Под капитализмом я здесь понимаю не рынки (они существовали задолго до этого), а постепенное преобразование отношений услужения в постоянные отношения наемного труда, то есть в отношения между небольшим числом обладателей капитала и теми, у кого капитала нет и кто, следовательно, должен на них работать. С человеческой точки зрения это в первую очередь означало, что миллионы молодых людей застряли на стадии перманентной социальной незрелости. После того как гильдейская система рухнула, ученики могли стать подмастерьями, но подмастерья уже не могли стать мастерами. С точки зрения традиции это означало, что они не могли жениться и создавать собственные семьи. Фактически они были вынуждены всю жизнь оставаться неполноценными людьми[194]. Предсказуемым образом многие начали бунтовать против старых порядков, отказываться от бесконечного ожидания, стали раньше жениться, уходить от своих мастеров, чтобы строить собственные дома и создавать семьи. Это, в свою очередь, вызвало волну моральной паники среди нарождающегося класса работодателей, которая очень напоминает более поздние эпизоды моральной паники из-за подростковых беременностей. Ниже приводится отрывок из «Анатомии злоупотреблений» – памфлета, написанного в XVI веке пуританином по имени Филипп Стаббс:

“ Вдобавок каждый нахал десяти, четырнадцати, шестнадцати или двадцати лет от роду хватает себе женщину и женится на ней, совершенно не боясь Бога... и пуще того, без всякого разумения, как они станут жить вместе, откуда возьмут средства на содержание своих занятий и имущества. Нет! Нет! До этого ему нет дела, он думает о том, как бы обнять свою хорошенькую кошечку покрепче, ведь только этого он желает. Потом они себе строят дом – из одних, впрочем, сухих жердей, – и вот чуть не на каждом отшибе такие же, как они, живут потом попрошайками всю жизнь. Оттого земля полнится таким множеством побирушек... что скоро это вырастет в великую бедность и нищету[195].

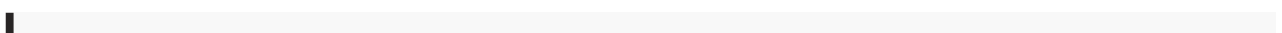
Можно сказать, что именно в этот момент рождается пролетариат как класс. Этот термин весьма точно выведен из латыни, где «proletarius» означает «производящий потомство», ведь в Риме самые бедные граждане, у которых не было средств на уплату налогов,

приносили правительству пользу только тем, что производили на свет сыновей, которых можно было призвать в армию.

«Анатомия злоупотреблений» Стаббса можно считать просто-таки манифестом пуританской «Реформации нравов», как они сами ее называли. В значительной степени это была точка зрения среднего класса, в равной степени пренебрежительно относившегося как к похоти, царящей в придворной жизни, так и к «варварскому беспорядку» народных гуляний. Отсюда также видно, что споры вокруг пуританства и истоки протестантской трудовой этики невозможно понять вне более широкого контекста – отмирания возрастного услужения и формирования пролетариата. Английские кальвинисты (в действительности пуританами их называли только те, кому они не нравились) происходили, как правило, из класса ремесленных мастеров и зажиточных фермеров, которые нанимали недавно возникший пролетариат. Их «Реформация нравов» была в особенности направлена против народных фестивалей, игр, попок и «всех ежегодных ритуалов торжества хаоса, во время которых молодежь на время переворачивает общественный порядок»[196]. Пуританский идеал состоял в том, чтобы поймать всех «бесхозных людей» и поместить в благочестивое домохозяйство со строгой дисциплиной, где отец семейства направлял бы их в труде и молитве. Но это была лишь первая из множества попыток изменить нравы низших классов – от викторианских работных домов, где бедняков учили правильно распоряжаться временем, и до программы стимулирования к труду для получателей пособий (workfare), а также других аналогичных государственных программ в наше время.

Почему начиная с XVI века средний класс вдруг начал проявлять такой интерес к изменению нравов бедняков? Прежде этот предмет не очень его интересовал. Это всегда было исторической загадкой. Но если рассмотреть этот вопрос в контексте возрастного услужения, то всё встает на свои места. К беднякам относились как к испорченным подросткам. Работа (прежде всего оплачиваемый труд под присмотром мастера) традиционно была способом научить таких подростков быть правильными, дисциплинированными, самостоятельными взрослыми людьми. На практике пуритане и другие благочестивые реформаторы уже мало что могли пообещать бедным, и уж точно они не могли обещать им взрослую жизнь в былой форме – как освобождение от необходимости работать, выполняя чужие приказы. Так что это обещание заменили на благотворительность, дисциплину и инъекцию новой теологии. Работа, согласно их учению, была одновременно наказанием и искуплением. Работа была самоистязанием и поэтому имела ценность сама по себе, даже независимо от производимых ею благ. Эти блага были лишь знаком Божьей милости (и от них не следовало получать слишком много удовольствия)[197].

После промышленной революции за прославление работы с новой силой принялись методисты. Но еще активнее это стал делать образованный средний класс, представители которого не считали себя особенно религиозными. Возможно, главным сторонником этой идеи был Томас Карлейль, чрезвычайно популярный эссеист, который был обеспокоен упадком нравов в новый век Маммоны и предложил «Евангелие труда», как он его назвал. Карлейль настаивал, что труд должен рассматриваться не как способ удовлетворения материальных потребностей, но как суть жизни; Бог намеренно оставил мир незавершенным, чтобы дать людям возможность дополнить его работу своим трудом:



Человек совершенствуется при помощи труда... Вспомните, что даже самый низменный труд в известной степени приводит душу в состояние истинной гармонии. Сомнения, страсти, заботы, раскаяние, разочарование, даже уныние – все эти исчадия ада мучительно осаждают душу бедного поденщика точно так же, как и всякого другого человека. Но стоит лишь человеку свободно и бодро приняться за труд, как все они умолкают и, ворча, прячутся по своим конурам. Человек становится воистину человеком. Священный жар труда похож на очистительный огонь, истребляющий любой яд, сквозь самый густой дым дающий светлое, чистое пламя!

Всякий истинный труд священен; в каждой истинной работе, хотя бы то было просто рукоделие, есть что-то божественное... О братья! Если это не молитва, тогда молитву надо пожалеть, потому что это самое высокое, что до сих пор известно нам под Божьим небом. Что ты такое, что жалуешься на избыток труда и работы в жизни? Не жалуйся. Взгляни вверх, усталый брат мой. Ты увидишь там, в Божьей вечности, своих сотрудников. Они еще живы, они одни еще продолжают жить, – священный сонм бессмертных, небесные телохранители царства человечества[198].

В конце концов Карлейль пришел к выводу, который многие делают сегодня: если труд благороден, то самый благородный труд не должен оплачиваться, потому что непристойно устанавливать цену на то, что обладает абсолютной ценностью («...награда за всякое благородное дело дается на небе либо нигде»)[199]. Пусть даже Карлейль был достаточно великодушным, чтобы признать, что бедным необходимо предоставить «справедливый заработок» для обретения средств к существованию.

Такие аргументы были чрезвычайно популярны среди представителей среднего класса; неудивительно, что участники рабочего движения, которое начало формироваться в Европе примерно во времена Карлейля, были далеко не так впечатлены. Большинство рабочих, участвовавших в движениях луддизма, чартизма, рикардиянского социализма и в разных течениях раннего английского радикализма, вероятно, согласились бы, что в работе есть нечто божественное, однако оно заключается не в воздействии на душу и тело (это они, как работяги, знали лучше всех), а в том, что работа является источником благосостояния. Богатые и могущественные люди стали богатыми и могущественными фактически благодаря тому, что было создано усилиями бедняков. Трудовую теорию стоимости приняли не только Адам Смит и Давид Рикардо, основатели британской экономической науки, но и многие новые промышленники, поскольку она позволяла им дистанцироваться от поместного дворянства – для них оно было всего лишь праздными потребителями. Однако эту теорию почти незамедлительно подхватили также социалисты и профсоюзные руководители, которые обратили ее против самих промышленников. Вскоре экономисты начали искать альтернативы, явно исходя из политических соображений. Уже в 1832 году (то есть за тридцать пять лет до появления «Капитала» Маркса) мы сталкиваемся с подобными предупреждениями: «Доктрина, согласно которой труд является единственным источником благосостояния, столь же опасна, сколь ошибочна. Ведь она, к несчастью, становится инструментом в руках тех, кто считает, что вся собственность принадлежит рабочим классам, а если кто-то еще получает свою долю, то он их грабит или

обманывает»[200].

Фактически к началу 1830-х годов многие провозглашали именно такие идеи. Важно подчеркнуть, что трудовая теория стоимости получила полное и всеобщее признание сразу после промышленной революции, то есть еще до распространения работ Маркса, которые придали этим аргументам новую энергию и облекли их в форму более изощренных теоретических высказываний. Особую силу эта теория приобрела в британских колониях в Америке. Ремесленники и торговцы, ставшие пехотинцами во время американской Войны за независимость, считали, что они производят богатство, которое расхищает британская корона. И после революции многие из них аналогичным образом избличали будущих капиталистов. Как сказал один историк, «твердой основой их представлений о правильном устройстве общества была идея, что всё богатство создано трудом»[201]. Слово «капиталист» в то время использовалось главным образом как ругательство. В 1861 году президент Авраам Линкольн, выступавший со своим первым ежегодным посланием к Конгрессу, произнес слова, которые сейчас кажутся радикальными, а тогда были всего лишь отражением здравого смысла эпохи: «Труд предшествует капиталу и независим от него. Капитал – это лишь плод труда, он не мог бы существовать, если бы сначала не существовал труд. Труд стоит выше капитала и заслуживает гораздо большего уважения»[202].

При этом Линкольн настаивал, что благодаря отсутствию постоянных наемных работников США отличаются от Европы и, более того, что именно это сделало американскую демократию возможной:

“ Нет необходимости, чтобы свободный наемный рабочий всю жизнь оставался в таком состоянии. Повсюду в США можно наблюдать множество независимых людей, которые еще несколько лет назад были наемными рабочими. Благоразумный новичок без гроша в кармане некоторое время зарабатывает сдельным трудом, в это время копит на приобретение собственных инструментов и земли, а потом еще некоторое время работает на самого себя и наконец нанимает другого новичка, чтобы тот помогал ему.

Другими словами, даже если он и выразился несколько иначе, Линкольн утверждал, что благодаря быстрому экономическому росту и территориальному расширению Америки там можно было сохранять что-то вроде старой средневековой системы, где все сначала работают на других, потом используют доходы от наемного труда для открытия собственной лавки или покупки фермы (на захваченной у местного населения земле), а затем в конце концов сами примеряют на себя роль капиталистов, нанимая молодых людей в качестве рабочих.

Определенно, именно таким был американский идеал до начала Гражданской войны. Впрочем, Линкольн был родом из Иллинойса, который находился недалеко от фронта; рабочие объединения старых городов на Восточном побережье в то время уже возражали против подобных взглядов[203]. Здесь же важно то, что в качестве общей рамки обсуждения Линкольн считал необходимым принять трудовую теорию стоимости – и так поступали все. Это продолжалось по меньшей мере до конца столетия, причем даже на

фронтире, где, казалось бы, вряд ли могла возникнуть классовая напряженность, как в Европе. В 1880-х годах один протестантский «миссионер в собственной стране», несколько лет путешествовавший вдоль фронта, писал: «От Колорадо и до Тихого океана едва ли можно найти группу скотоводов или шахтеров, у которых с языка не слетал бы рабочий сленг Дениса Кирни, безбожные непристойности [атеиста-памфлетера] Роберта Ингерсолла, социалистические теории Карла Маркса»[204].

Во всех фильмах про ковбоев, которые я когда-либо видел, об этом ничего не было! (За исключением «Сокровища Сьерра-Мадре», где в первой сцене играющий шахтера Джон Хьюстон объясняет Хамфри Богарту трудовую теорию стоимости[205]).

К вопросу о ключевом недостатке трудовой теории стоимости, ставшей популярной в XIX веке, и о том, как владельцы капитала воспользовались ЭТИМ недостатком

“ Практически любую форму труда можно описать как «заботу» в том смысле, что труд воплощается в деятельности, которая помогает удовлетворять потребности других.

Нэнси Фольбре

Я не зря обратился к примеру Америки: США играют в нашей истории ключевую роль. Ни в одной другой стране принцип, согласно которому всё богатство производится трудом, не стал для всех до такой степени самоочевидным. И одновременно с этим нигде атака на этот принцип не была столь рассчитанной, столь последовательной и не оказалась в итоге столь успешной. К началу XX века, когда создавались первые фильмы про ковбоев, дело по большей части уже было сделано, так что большинству американцев показалось бы нелепым, что работники на ранчо когда-то были заядлыми читателями Маркса, – точно так же, как это кажется невероятным большинству американцев сейчас. Еще важнее, что это встречное наступление заложило основу того несомненно странного отношения к работе, которое происходит преимущественно из Северной Америки и по-прежнему распространяется по всему миру, несмотря на очевидные пагубные последствия.

Несомненно, Линкольн преувеличивал, но всё же «Республика ремесленников», существовавшая до Гражданской войны, действительно чем-то напоминала прежнюю традицию возрастного служения. Существенное отличие заключалось лишь в том, что большинство наемных работников не назывались «слугами» и не жили в домах своих

работодателей. Политики считали такое устройство идеальным и принимали соответствующие законы. Чтобы получить право на создание компании с ограниченной ответственностью, будущий капиталист должен был доказать, что это принесет ясную и неоспоримую «пользу обществу» (другими словами, концепция общественной ценности не только существовала, но и была законодательно закреплена). На практике это обычно означало, что они должны были предложить вырыть канал или построить железную дорогу[206]. Если не брать в расчет проживавших на фронтире атеистов, эти антикапиталистические настроения в значительной степени обосновывались религиозными соображениями. Народный протестантизм, опиравшийся на пуританские корни, не только прославлял работу, но поддерживал веру в то, что «работа была священным долгом и заявкой на моральное и политическое превосходство над праздными богачами», как выразились мои коллеги-антропологи Димитра Дукас и Пол Дюрренбергер. Это была демонстративно религиозная версия карлейлевского «Евангелия труда» (историки обычно называют ее просто производительством), согласно которой работа одновременно является и ценностью самой по себе, и ее единственным реальным производителем.

Изменения начались сразу после Гражданской войны с появлением первых ростков крупномасштабного бюрократического и корпоративного капитализма. К «баронам-разбойникам», как стали называть новых магнатов, сначала относились чрезвычайно враждебно (отсюда соответствующее прозвище). Но к 1890-м годам они начали интеллектуальное контрнаступление, предложив «Евангелие богатства» (Дукас и Дюрренбергер назвали эту концепцию в честь эссе Эндрю Карнеги):

“ Нарождающиеся крупные корпорации, их банкиры и политические союзники выступали против нравственных требований производства. В 1890-е годы они впервые вышли с новой идеологией, которая, напротив, утверждала, что богатство и процветание возникают благодаря капиталу, а не труду. Могущественные коалиции корпоративных интересов предприняли согласованные усилия, чтобы изменить тот посыл, который несли школа, университет, церковь и гражданские группы. Теперь утверждалось, что «бизнес решил фундаментальные этические и политические проблемы индустриального общества».

Предводителем этой культурной кампании был стальной магнат Эндрю Карнеги. Обращаясь к массам, Карнеги выступал за то, что сейчас мы бы назвали потребительством: под мудрым руководством лучших производительность «концентрированного» капитала настолько снизит цену товаров, что рабочие будущего будут жить так же, как прежде жили короли. Обращаясь к элите, он заявлял, что баловать бедных высокими зарплатами плохо «для расы»[207].

Провозглашение потребительства также совпало с началом менеджериальной революции, которая противостояла знаниям простонародья, особенно поначалу. Если прежде бондари, тележные мастера и швеи считали себя гордыми наследниками своих традиций и обладателями тайного знания, то новые бюрократически организованные корпорации и их

«научное управление», как могли, стремились буквально превратить рабочих в дополнение к машинам и сделать так, чтобы каждый их шаг был заранее запрограммирован извне.

На мой взгляд, самый интересный вопрос состоит в том, почему эта кампания оказалась столь успешной. Ведь невозможно отрицать, что в течение жизни одного поколения «производство» уступило место «потребительству». По словам Гарри Бравермана, «способность создавать вещи перестала быть источником статуса, ее заменила возможность их приобретать»[208]. Трудовая теория стоимости (которую тем временем вышибла из экономической теории «маржиналистская революция») настолько далеко ушла от общепринятого здравого смысла, что сейчас, вероятно, о ней слышали только аспиранты да теоретики революционного марксизма в своих маленьких кружках. Теперь когда кто-то говорит о «производителях богатства», то люди сразу решают, что речь идет о капиталистах, а не о рабочих.

Произошел огромный сдвиг в общественном восприятии. Почему он стал возможен? Мне представляется, что основная причина заключается в том, что в трудовой теории стоимости изначально был изъян. Он состоит в том, что теория уделяла основное внимание «производству», – как отмечалось выше, это, по сути, теологическое понятие, заключающее в себе глубокие патриархальные предубеждения. Даже в Средние века христианский Бог воспринимался как ремесленник и изобретатель[209], а человеческий труд (под которым всегда в первую очередь понимали мужской труд) – как создание и постройка вещей, как извлечение их из земли. Показательно, что в то же время под женским трудом понималось в первую очередь производство потомства; бóльшая часть реального женского труда выпадала из поля зрения. Очевидно, что свою роль также сыграл поразительный и беспрецедентный рост производительности, последовавший за промышленной революцией. Он, естественно, вызвал споры о том, кто важнее: машины или управляющие ими люди, и эти споры оставались ключевыми для политики и экономики на протяжении всего XIX века.

Однако даже с заводским трудом всё не так просто. Большинство владельцев первых заводов изначально вообще не собирались нанимать мужчин, предпочитая им женщин и детей: детей считали более послушными, а женщин – приспособленными к монотонной, повторяющейся работе. Это часто приводило к бесчеловечным и ужасным последствиям. Кроме того, такая ситуация поставила занятых традиционными ремеслами мужчин в особенно тяжелое положение: из-за новых предприятий они лишились не только работы, но и статуса кормильцев семьи, который перешел к женам и детям, прежде трудившимся под их руководством. Несомненно, это стало одной из причин первой волны разрушения машин во время наполеоновских войн, известной как луддизм. Успокоить этот бунт удалось в значительной степени благодаря достижению негласного социального компромисса, в соответствии с которым на заводах должны были работать главным образом взрослые мужчины. Эта ситуация, а также тот факт, что на протяжении следующего столетия профсоюзы, как правило, опирались на фабричных рабочих (отчасти просто из-за того, что их было легче всего организовать), привели к тому, что теперь простое упоминание понятия «рабочий класс» мгновенно вызывает в воображении образы мужчин в комбинезонах, которые трудятся на производственной линии. А неглупые вообще-то интеллектуалы из среднего класса постоянно заявляют, что со спадом промышленного производства рабочий класс в таких странах, как Великобритания или Америка, исчез, – как будто это гениально

сконструированные андройды возят их на автобусах, стригут им газоны, устанавливают провода и меняют утки их бабушкам и дедушкам.

На самом деле никогда в истории не было так, чтобы бóльшая часть рабочих была занята на предприятиях. Даже во времена Карла Маркса и Чарльза Диккенса в рабочих районах селилось гораздо больше горничных, сапожников, мусорщиков, поваров, медсестер, извозчиков, школьных учителей, проституток, сторожей и уличных торговцев, чем работников угольных шахт, текстильных фабрик или чугунолитейного производства. Можно ли назвать эти преобладавшие тогда виды занятости «производительными»? В каком смысле они «производительны» и для кого? Кто «производит» суфле? Поскольку на эти вопросы трудно ответить однозначно, их обычно стараются не касаться в спорах о ценности. Однако из-за этого мы забываем о том, что бóльшая часть труда рабочего класса (вне зависимости от того, выполняют ли его мужчины или женщины) на самом деле выглядит скорее как типично женская работа в нашем понимании. Речь идет о присмотре за людьми, удовлетворении их желаний и потребностей, разъяснении, утешении, предвосхищении желаний и мыслей начальника, не говоря уже о заботе, наблюдении и уходе за растениями, животными, машинами и другими предметами, – а не о забивании гвоздей, резьбе по дереву, подъеме грузов или лесозаготовке.

У этого неведения есть свои последствия. Приведу пример: в 2014 году в Лондоне прошла забастовка работников общественного транспорта, вызванная угрозой мэра города закрыть сотню билетных касс в лондонском метро и оставить только автоматы. В интернете вспыхнули споры между местными марксистами о том, занимаются ли бредовой работой те, кому угрожает увольнение. Некоторые из них утверждали, что работа должна либо производить ценность для капитализма (но в данном случае капиталисты, очевидно, считали, что она больше не производит ценности), либо выполнять социальные функции, которые были бы необходимы, даже если бы не было капитализма (но при реальном коммунизме общественный транспорт был бы бесплатным, так что в этой работе не было бы надобности). Разумеется, я втянулся в эти дискуссии, и когда меня попросили высказаться, то я сослался на текст, который сами забастовщики распространяли под названием «Указания для пассажиров лондонского метро будущего». Там были следующие строчки:

“ Перед поездкой, пожалуйста, убедитесь, что вы полностью ознакомились с одиннадцатью линиями и двумястами семидестью станциями лондонского метрополитена... Пожалуйста, убедитесь, что на вашем пути нет задержек или каких-либо аварий, чрезвычайных ситуаций, происшествий и эвакуаций. Пожалуйста, не будьте инвалидами. Не будьте бедными. Не будьте теми, кто оказался в Лондоне впервые. Пожалуйста, постарайтесь не быть слишком маленькими или слишком старыми. Пожалуйста, не подвергайтесь домогательствам и нападениям во время поездки. Пожалуйста, не теряйте свои вещи и своих детей. Пожалуйста, ни в коем случае не нуждайтесь в помощи.

Похоже, многим сторонникам пролетарской революции никогда не приходило в голову выяснить, чем на самом деле занимаются работники общественного транспорта. Судя по

всему, они впали в заблуждение, очень напоминающее стереотипные представления правых таблоидов, которые считают городских служащих бездельниками, прохлаждающимися за государственный счет.

Таким образом, работники метро на самом деле занимаются тем, что гораздо ближе к феминистскому термину «работа заботы» (caring labor). Их труд имеет больше общего с работой медсестры, чем с работой каменщика. Просто мы упускаем из виду ту сторону труда рабочего класса, которая связана с заботой, – точно так же, как в своих рассуждениях об «экономике» мы упускаем из виду работу заботы, производимую женщинами. Наверное, можно показать, что в массовой культуре, которая в основном производится рабочим классом, британские традиции работы заботы нашли свое отражение. В британской музыке, комедии и детской литературе запечатлены характерные жесты, манеры и интонации, которые люди из рабочей среды используют, когда хотят друг друга слегка подбодрить. Однако это не считается трудом, создающим ценность.

«Работой заботы» обычно называют работу, направленную на других людей и всегда требующую определенного труда по интерпретации, эмпатии и пониманию. В определенном смысле можно утверждать, что это вовсе не работа, а просто жизнь или, точнее, нормальная жизнь. Ведь люди по природе способны к эмпатии, и, чтобы общаться друг с другом, нам нужно постоянно ставить себя на место других, пытаться понять их мысли или чувства; как правило, это означает, что нам нужно хоть немного заботиться о других. Однако когда только одна сторона проявляет эмпатию и ставит себя на место другого, то это уже становится работой, и не самой простой. Работа заботы становится товаром не потому, что некоторые люди проявляют заботу, а потому, что другие этого не делают, – потому что те, кто платит за «услуги» (обратите внимание, что старый феодальный термин по-прежнему сохраняется), считают, что сами они не обязаны брать на себя труд по интерпретации. Это верно даже в отношении каменщика, если он на кого-то работает. Подчиненные должны постоянно следить за мыслями начальника, начальнику же нет необходимости об этом заботиться. Я полагаю, что это одна из причин, почему психологические исследования постоянно демонстрируют, что выходцы из рабочего класса более чутки к чувствам других, более эмпатичны и заботливы, чем средний класс, не говоря уже о богачах[210]. В определенном смысле способность считывать эмоции других людей – это лишь следствие той работы, которой на самом деле занят рабочий класс. Богатым людям нет надобности учиться понимать чувства других так же хорошо, ведь они могут нанять кого-то, кто сделает это за них. И наоборот, поскольку эти нанятые работники обязаны развить в себе привычку понимать других людей, то они также станут проявлять и заботу о других[211].

По той же причине, как отмечают многие феминистские экономисты, весь труд можно считать работой заботы. Обратимся к примеру из начала этой главы: ведь даже если кто-то строит мост, то он делает это потому, что заботится о людях, которые захотят пересечь реку. Как свидетельствуют приведенные мной примеры, люди действительно мыслят подобными категориями, когда рассуждают об общественной ценности своей работы[212].

Мы упускаем всё это из виду, если считаем, что труд ценен только тогда, когда он «производителен», а производительный труд – это труд фабричного рабочего, который производит какую-то волшебную трансформацию, в результате чего из предприятий

выходят «произведенные» автомобили, чайные пакетики и лекарственные препараты (точно так же, как болезненная и таинственная «работа» женщин во время схваток производит на свет детей). Кроме того, такой взгляд позволяет владельцам заводов с легкостью утверждать: «Нет, на самом деле рабочие ничем не отличаются от машин, на которых работают». Конечно, развитие так называемого «научного управления трудом» облегчило им задачу; но у них это никогда бы не вышло, если бы, думая о «рабочем», люди воображали себе повара, садовника или массажистку.

* * *

Большинство экономистов сейчас считают трудовую теорию стоимости реликтом раннего этапа развития дисциплины. Вероятно, если для вас главное – понять принципы ценообразования, то для этого действительно есть инструменты получше. Но для рабочего движения (как, вероятно, и для революционеров вроде Карла Маркса) это вообще никогда не было главной задачей. Главным для них был философский вопрос: им было важно признать, что мир, в котором мы живем, мы создаем сами коллективными усилиями общества, – а значит, мы вполне могли бы создать его иначе. Так обстоит дело с почти любым физическим объектом, который находится в зоне нашей досягаемости в любой момент времени. Каждого из нас кто-то произвел и вырастил, руководствуясь собственными представлениями о том, какими мы будем, чего мы станем хотеть и в чем можем нуждаться. И еще более это справедливо в отношении таких абстракций, как «капитализм», «общество» или «государство». Они существуют только потому, что мы производим их каждый день. Джон Холлоуэй – должно быть, самый поэтичный из марксистов нашего времени – как-то решил написать книгу под названием «Хватит создавать капитализм»[213]. В конце концов, писал он, даже если мы действуем так, словно капитализм – это что-то вроде исполина, который возвышается над нами, на самом деле мы производим его сами. Каждое утро мы просыпаемся и воссоздаем капитализм. Если однажды мы проснемся и решим создать что-то другое, то капитализма больше не будет. Будет что-то другое.

Можно даже сказать, что это ключевой вопрос всей социальной теории и революционной мысли – в конечном счете, наверное, ее единственный вопрос. Мы вместе создаем тот мир, в котором живем. Но если бы кто-то из нас попытался представить мир, где мы хотели бы жить, то кто вообразил бы себе тот, в котором мы живем сейчас? Все мы можем представить себе мир получше. Но почему тогда мы не можем просто создать его? Почему нам кажется, что невозможно перестать создавать капитализм? Или государство? Или хотя бы плохих поставщиков услуг и утомительную бюрократическую волокиту?

Такие вопросы возникают в том случае, если мы рассматриваем работу как производство. Это крайне важно; однако непонятно, дает ли это нам возможность на них отвечать. Мне представляется, что одну из причин того, почему сложно просто создать другое общество с другим набором правил, можно обнаружить, если признать, что огромная часть работы, строго говоря, является не производительной работой, а работой заботы и даже в самой, казалось бы, безличной работе всегда есть этот элемент заботы. Даже если нам не нравится то, как выглядит мир, всё же остается фактом, что сознательная цель большинства наших

действий, производительных или нет, – это сделать добро другим людям; зачастую вполне конкретным людям. Наша деятельность глубоко встроена в отношения заботы. Однако отношения заботы обычно требуют от нас оставить мир примерно таким же, каким он был до наших действий. Так, подростки-идеалисты всегда отказываются от своей мечты о создании лучшего мира и идут на компромиссы взрослой жизни именно в тот момент, когда вступают в брак и заводят детей. Забота о других, особенно в течение длительного периода времени, требует поддерживать окружающий мир в относительной предсказуемости, чтобы для осуществления заботы была твердая почва под ногами. Чтобы сберегать деньги на высшее образование для своих детей, необходимо быть уверенным, что за ближайшие двадцать лет высшее образование никуда не исчезнет, равно как и деньги. А это, в свою очередь, означает, что любовь к другим (к людям, животным, пейзажам) обычно требует сохранения институциональных структур, которые человек может в принципе ненавидеть.

Как в XX веке работа стала всё больше цениться в качестве способа поддержания дисциплины и формы самопожертвования

“ Мы продолжаем изобретать рабочие места из-за ложного представления о том, что все должны быть заняты каким-нибудь тяжелым трудом, потому что, согласно мальтузианско-дарвинистской теории, человек должен оправдывать свое право на существование.

Бакминстер Фуллер

Так или иначе, контратака «Евангелия богатства» оказалась успешной, и промышленные магнаты – сначала в Америке, а потом и во всём мире – сумели убедить общественность, что на самом деле процветание – дело именно их рук, а не рабочих. Однако их успех привел к возникновению неизбежной проблемы: как рабочие могут видеть смысл и цель в работе, на которой их фактически превращают в роботов? В работе, на которой им говорят, что они немногим лучше роботов, и при этом ожидают, что работа будет занимать всё больше места в их жизни?

Очевидное решение состояло в том, чтобы вернуться к старой идее, что работа формирует характер, – и судя по всему, именно это и произошло. Кто-то может сказать, что произошло возрождение пуританства; однако мы видели, что на самом деле эта идея относится к гораздо более раннему периоду, ко времени, когда христианское учение о проклятии Адама слилось с североевропейским представлением о том, что оплачиваемый труд под руководством мастера – это единственный способ стать по-настоящему взрослым человеком. Благодаря этой истории было очень легко убедить рабочих, что они трудятся не

только и не столько для того, чтобы создавать богатство или помогать другим, но в целях самоотречения, что они надевают своего рода светскую власяницу, жертвуют радостями и удовольствиями для того, чтобы стать взрослыми людьми, достойными своих потребительских игрушек.

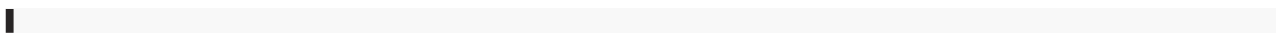
Множество современных исследований подтверждают этот вывод. Действительно, люди в Европе и Америке исторически не рассматривали свою профессию как то, что придает их жизни вечный смысл. Сходите на кладбище – вы вряд ли найдете надгробие с надписью «водопроводчик», «исполнительный вице-президент», «лесник» или «клерк». Считается, что перед лицом смерти сущность земного бытия нашей души определяется любовью, которую человек испытывал к супруге/супругу и к своим детям и которую получал от них, – а иногда тем, в каком полку он служил во время войны. Всё это предполагает сильную эмоциональную вовлеченность, а также умение что-то отдавать и брать от жизни. При жизни же, напротив, всем этим людям при встрече, скорее всего, первым делом задавали вопрос: «Чем зарабатываешь на жизнь?»

Парадокс состоит в том, что так продолжается и по сей день, хотя «Евангелие богатства» и последовавший за ним рост потребительства должны были всё изменить. По идее, мы должны были начать верить, что наша сущность выражается посредством потребления, а не производства, что важнее, какую одежду мы носим, какую музыку слушаем и за какие спортивные команды болеем. Начиная с семидесятых годов люди должны были начать делиться на субкультуры фанатов научной фантастики, собаководов, любителей пейнтбола, торчков, болельщиков «Чикаго Буллз» или «Манчестер Юнайтед», но точно не на грузчиков и специалистов по анализу рисков катастроф. И на определенном уровне большинство из нас действительно предпочитает думать, что главное в нас – это что угодно, только не работа[214]. И всё же парадоксальным образом люди постоянно говорят о том, что работа придает главный смысл их жизни и что безработица оказывает разрушительное воздействие на психику.

На протяжении XX века было проведено множество опросов, исследований, обследований и этнографических описаний работы. Работы о работе стали своего рода небольшой самостоятельной дисциплиной. Эти исследования пришли к выводам, которые с незначительными изменениями справедливы в отношении как синих, так и белых воротничков практически по всему миру. Выводы можно обобщить следующим образом:

1. Чувство собственного достоинства и самооценка большинства людей тесно связаны с тем, как они зарабатывают себе на жизнь.
2. Большинство людей ненавидит свою работу.

Это можно назвать парадоксом современной работы. Вся социология работы, не говоря уже о социологии трудовых отношений, главным образом занимается тем, что пытается понять, как обе эти вещи могут быть верны одновременно. В 1987 году Эл Джини и Терри Салливан, два ведущих исследователя в этой области, писали:



За последние двадцать пять лет проведено более сотни исследований, в которых рабочие постоянно говорили, что их работа является физически изматывающей, скучной, ущербной, унижительной и малозначительной.

[Но в то же время] они хотят работать, потому что на определенном уровне они знают, что работа играет решающую и, может быть, даже исключительную психологическую роль в формировании человеческого характера. Работа – это не просто источник средств к существованию, но также один из важнейших факторов внутренней жизни... Тот, кого лишают работы, лишается гораздо большего, чем вещей, которые можно купить благодаря работе; он лишается возможности формировать и уважать себя[215].

После многих лет исследований этого вопроса Джини наконец пришел к выводу, что работа всё меньше воспринимается как средство достижения цели, то есть как способ получить ресурсы и опыт, чтобы развивать свои начинания (семью, политику, сообщество, культуру, религию – то есть неэкономические ценности, как я это называю). Работа всё в большей степени становится самоцелью. И в то же время большинство людей считают эту самоцель вредной, унижительной и гнетущей.

Как примирить между собой эти два наблюдения? Может быть, стоит вернуться к аргументу, предложенному мной в главе 3, и признать, что человеческие существа, по сути, являются набором целей? Исходя из этого, если у нас нет какого-то ощущения цели, то едва ли вообще можно сказать, что мы существуем. Безусловно, здесь есть доля правды: в каком-то смысле все мы находимся в положении заключенного, который предпочитает работать в тюремной прачечной, а не смотреть телевизор круглыми сутками. Однако есть еще одно объяснение, которое обычно игнорируют социологи: если работа является формой самопожертвования или самоотречения, то тогда само отвращение, которое вызывает современная работа, и делает ее самоцелью. Мы вернулись к Карлейлю: работа должна быть мучительной, ведь страдание, которое она приносит, «формирует характер».

Другими словами, рабочие приобретают чувство собственного достоинства и самоуважение именно потому, что ненавидят свою работу.

Как отметил Клемент, эта идея продолжает витать в воздухе, ею пронизана офисная болтовня. «От нас требуют оценивать себя и других на основании того, насколько усердно мы занимаемся тем, чем заниматься не хотим... Если ты не разрушаешь свое тело и разум посредством оплачиваемого труда, то ты живешь неправильно». Разумеется, так чаще считают офисные работники из среднего класса вроде Клемента, чем трудящиеся-мигранты на фермах, работники парковок или повара в заведениях общепита. Но такой подход можно наблюдать и в среде рабочего класса – он проявляется там в негативной форме. Даже те, кто не считает, что должны ежедневно оправдывать свое существование, хвастаясь, как они перегружены работой, всё же соглашаются, что тем, кто совсем не работает, лучше сдохнуть.

В Америке стереотипы о ленивых и недостойных бедняках долгое время были связаны с расизмом. Целые поколения иммигрантов учились быть «трудолюбивыми американцами», презирая воображаемую недисциплинированность потомков рабов (точно так же, как японских рабочих учили презирать корейцев, а английских рабочих – ирландцев)[216]. Сегодня медиа, как правило, вынуждены выражаться более тонко, но они не перестали очернять бедных, безработных и прежде всего тех, кто получает государственную помощь. По-видимому, большинство людей согласны с базовой логикой нынешних моралистов: общество обложили те, кто хочет получить что-то задаром; бедняки обычно бедствуют, потому что им не хватает силы воли и дисциплинированности для работы; и только те, кому хоть когда-то пришлось вопреки своей воле усердно заниматься чем-то, чего делать не хотелось (желательно под руководством сурового надсмотрщика), заслуживают уважения и внимания сограждан. В результате описанный в главе 4 садомазохистский элемент работы – это вовсе не неизбежный (пусть и уродливый) побочный эффект иерархий в организациях, а сама суть работы, смысл ее существования. Страдание стало признаком экономического гражданства. Жить без страдания – это примерно как жить без домашнего адреса: в его отсутствие у вас нет права чего-то требовать.

Круг замкнулся: мы вернулись к тому, с чего начали. Но теперь, по крайней мере, мы можем понять это явление в исчерпывающем историческом контексте. Бредовой работы сегодня становится всё больше в основном из-за особого менеджериального феодализма, который теперь преобладает не только в высокоразвитых экономиках, но постепенно захватывает все экономические системы мира. Бредовая работа вызывает отчаяние, потому что человеческое счастье всегда связано с ощущением того, что твои действия оказывают воздействие на мир; большинство людей, говоря о своей работе, выражают это ощущение на языке общественной ценности. В то же время они знают, что чем большую ценность для общества приносит их работа, тем меньше за нее платят. Как и Энни, они вынуждены выбирать между двумя вариантами. Либо ты выполняешь полезную и важную работу (например, заботишься о детях), и при этом тебе говорят, что твоей наградой должно быть чувство удовлетворения от того, что ты помогаешь другим людям, а где брать деньги, чтобы платить по счетам, – это уже твое дело. Либо ты соглашаешься на бессмысленную и унижительную работу, которая разрушает твой разум и тело просто так, по одной-единственной причине – потому, что господствует мнение, что если человек не занимается трудом, разрушающим его разум и тело (вне зависимости от того, есть ли смысл им заниматься), то он не заслуживает того, чтобы жить.

Вероятно, нам стоит оставить последнее слово за Карлейлем, который включил в свое прославление работы главу, представляющую собой своеобразную обличительную речь против счастья. Она стала ответом на утилитаристские доктрины людей вроде Иеремии Бентама: последний предположил, что человеческое удовольствие можно точно подсчитать и, следовательно, свести всю мораль к вычислению того, что принесет «величайшее счастье наибольшему числу людей»[217]. Карлейль возражал, что счастье – это неизменное понятие. «Единственное счастье, просьбами о котором утруждал себя достойный человек, было счастье от выполнения своей работы. В сущности говоря, все-таки это единственное несчастье человека, когда он не может работать, когда он не может исполнить своего назначения как человек»[218].

Бентама и утилитаристов, считавших стремление к удовольствию единственной целью человеческой жизни, можно рассматривать как философских предшественников современного потребительства, которое по-прежнему основывается на экономической теории полезности. Но точка зрения Карлейля на самом деле не подразумевает отрицания идеи Бентама; а если и подразумевает, то только в диалектическом смысле, когда две видимые противоположности постоянно находятся в состоянии войны друг с другом, а их сторонники сами не знают, что в своей борьбе они образуют единство более высокого порядка, невозможное без обоих участников. Убежденность, что стремление к богатству, власти, удобствам и удовольствию в конечном счете всегда двигало и будет двигать людьми, неизменно дополнялось и обязательно должно дополняться концепцией работы-самопожертвования, работы, которая ценна именно потому, что в ней сосредоточены страдание, садизм, пустота и отчаяние. Как выразился Карлейль,

“ всякая работа, даже прядение хлопка, благородна; только работа благородна, повторяю и утверждаю это еще раз. И таким образом, всякое достижение – трудно. Легкой жизни нет ни для одного человека... Наша наивысшая религия называется «поклонение страданию». Для сына человеческого не существует заслуженно или даже незаслуженно носимой короны, которая не была бы терновым венцом[219].

Версия #1

Зверобой создал 4 февраля 2026 06:48:37

Зверобой обновил 4 февраля 2026 06:58:30